

ДМИТРИЙ НАГЕЛЬ



ДРУГОЕ ВРЕМЯ

О чем это?

Роман Дмитрия Нагеля «Другое Время» возвращает на зарю современного анархистского/левого движения в России. Развал Советского Союза и изменения в стране, не могли остаться незамеченными для думающей молодежи. Переживания героя книги, очень свойственны российским жителям и сейчас, потому придутся знакомы многим: «Как можно тратить свои лучшие годы и душевные силы на альтруистические вещи и идеи, несостоятельность которых «показал развал СССР?», От неформальных тусовок с портвейном, драк с нацистами, до эколагерей и серьезного протестного активизма, и следующий из этого арест и отсидка в тюрьме, заставляют философски размыслить : «Зачем?», «Я устал? Надо все менять?», «Но, как по-другому?». Второй линией сюжета идет повествование о лидере тоталитарной религиозной секты. Автор производит соотношение крайне левого и крайне правого мировоззрения. Кто прав? Что движет каждым из них?

Переиздание 2014 г.

GOODBOOKS.NOGLOGS.ORG

ПОЯСНЕНИЕ

Все персонажи данной повести являются вымышленными. Любое возможное сходство является случайным.

Глава 1

5:21 Первый троллейбус, выезжающий из парка на темный проспект, с испуганно мигающим желтым светофором, который свешивается над перекрестком, делает первый толчок, после чего появляются несколько машин и как мухи пролетают маршрутные такси. Отсутствующие пешеходы, вместо того, чтобы вышагивать по специально для них сделанным тротуарам, проминают постели или только встают, выключая тошнотворно звенящие будильники, а какие-то ароматические тени мелькают в тишине под окнами. Тени скачут по столбам, перепрыгивают через газоны, любят собираться на углах домов, которые притягивают их шлифованной темнотой. Редкая машина с сонным водителем, едва удерживающим руль, спугивает их горящими фарами, заставляя разбежаться и прятаться во дворах с еле слышимым писком.

Первый троллейбус летит по проспекту, не останавливаясь. За стеклом сидят два пассажира, появившихся из неведомых переулков, для которых самый медленный и переполненный днем транспорт превратился в экспресс, проскакивающий несколько остановок подряд. Постепенно тени исчезают – их писк и шуршанье ночь забирает с собой, сгребая в охапку угловатые сорища, в эти несколько минут все стынет, и неожиданно появляются первые вялые люди, тишина удаляется, а первый прохожий стучится в киоск, чтобы купить сигарет.

Когда я вышел на проспект, автомобилей стало больше, будто в самом конце его кто-то открыл широкий шлюз. Уже на следующей остановке несколько машин терпеливо стояли перед «зеброй», остановленные красным светом, хотя через дорогу никто не переходил. Поэтому один из водителей раньше времени прекратил этот ритуал, рванул с места, и все поехали следом.

5:23 Живого анархиста я увидел семь лет назад. На первом курсе университета, как иные ищут девушку, с которой можно погулять, я настроил свой внутренний компас на ожидание встречи с этими неведомыми людьми. Я их представлял себе в виде группы смеющихся бородатых мужиков, над которыми веет, захлестываясь, необъятное черное знамя, тем более что знакомые рассказывали – кто-то где-то видел, как анархисты выходили на демонстрацию Первомая. Эти мужики должны были бы говорить, усмехаясь, прямые как палки, неоспоримые угрожающие речи, при ближайшем знакомстве оказываться интеллигентами, возведшими ехидство и грубоватость общения за образец как упрощенный способ поведения, хотя с другой стороны меня сжимала сильная ревность при одной только мысли о том, что еще кто-то кроме меня изучает и знает анархизм – так негодует женщина, узнавая, что другая тоже берет его под руку на улице, целуется и спит.

Наследственное упрямство и потребность нащупать реальную почву для своих возрений, сначала потянули меня в библиотеку, на полках которой происходила поспешная и унижительная расстановка новых сил, потому что на дворе стоял 1992

год и общество активно избавлялась от старых, казалось, приевшихся до тошноты идеологических кумиров. Бесконечные «собсочи» Ленина и Маркса с Энгельсом, которых, как сиамских близнецов в СССР издавали вместе, изгонялись со своих пьедесталов. У студентов были зимние каникулы, и, когда я зашел в пустой читальный зал спросить Кропоткина, библиотекари выгребали с полок синего Ленина, красного Маркса. Отрывая от толстых томов обложки, они складывали лишние твердой оболочки кашеобразные листы в большие стопки, приготовленные для сдачи – как макулатура. Читальный зал в тот момент был больше похож на типографский цех, заставленный ровными кирпичными кипами, которые в СССР издавались в безмерных количествах, а потому в библиотеках их выставляли для свободного пользования вместе с томами «Большой Советской Энциклопедии» - как эдакие универсальные справочники, дающие ответы на все вопросы, откуда наглые студенты вырывали листы, а то и просто забирали домой, чтобы не ходить сюда зазря. Провинциальная университетская профессура медленно входила в курс дела и пусть в меньших объемах, но по-прежнему требовала знания «Анти-Дюринга» и «Гражданской войны во Франции». Пользуясь ситуацией, похожей на распродажу обанкротившегося магазина, за три сеанса я разжился пятью томами Маркса и тремя томами Ленина. Не смотря ни на что их тексты впоследствии сильно повлияли на мое мировоззрение.

За зимние каникулы, делая выписки в толстую тетрадку, под шум разрываемых томов и смех молодых библиотекарей, я прочел всего Кропоткина, изданного в СССР и бакунинские «Бог и государство», толкаемый к ним от томиков зарубежной фантастики, поглощаемых тогда мной в неисчерпаемых количествах, какими-то иррациональными неясными порывами, словно некто исподволь направлял мою судьбу. Стыдно признаться, но до этого, считая себя убежденным непримиримым анархистом, я даже не притронулся к тем книгам, в которых анархизм как теория был сформулирован, а, прочитав эти книги, ощутил себя обновленным и наполненным, хотя какое-то чувство беспокойства, вызванное вековой отдаленностью от времени написания этих книг у меня осталось.

Это и последующие знакомства с утопическими теориями, однако, не сразу приблизили меня к встрече с анархистами, до которой оставалось еще четыре года. За это время я два раза бросал институт, снова поступал, научился пить водку прямо на улице, превратившись из мальчика с сиплым робким голосом в молодого человека, ведущего уличный образ жизни, лицо которого всегда можно заметить на особых местах, где собирается молодежь больших городов, чтобы скинуться на спиртное или вместе дунуть.

Окончательно издержав своим поведением, образом жизни и образом мыслей нервы родителей, которым надоело ходатайствовать за меня в деканате, давать где надо взятки ради моего очередного восстановления, в 1996 году я все еще был на втором курсе, к которому пришел с твердым намерением завершить, наконец, учебу. Проработав за время бесшабашных многомесячных отлучек из института, продавцом в киоске, разнорабочим, продавцом минеральной воды (которой, стоя за прилавком, напивался тайком как человек-амфибия), я пришел к односложному мещанскому выводу, что лучше работать головой, чем руками и лучше иметь высшее образование, чем не иметь никакого. Необязательность никогда не была отличительным фоном, поверх которого бежала моя жизненная линия. Если отбросить глубокомысленные оправдания, которые я выстраивал перед собой, оправдывая новый уход из института, где меня терпели, наверное, за смазливую мордочку и патологическую любовь к

философии, то останется лишь иррациональное ощущение нехватки чего-то существенного: в событиях нечто ускользало от меня, оставляя в сознании отвратительную легковесность как на пустых весах, на которые нужно положить это нечто, почувствовать некоторый вес, чтобы стрелка показала, что в этом месте есть какое-то содержание. Я не ощущал содержания.

Открывшийся на спонсорские деньги американского миллионера Сороса в начале 1997 года первый университетский Интернет-класс, пустовавший первое время, потому что около полу-года никто не знал, как подходить к компьютерам, - стал дверцей, выведшей на первого анархиста, сделавшего на университетском сервере страничку, которую поисковые программы находили на слово «анархия».

5:24 Мягкая утренняя тоска нахлопнула меня, и я сел на стеклянной остановке. На краю лавки выселись две пивные бутылки, между которыми пробежал луч солнца, отражаемый бурными горлышками, а рядом с ними драным квадратным лоскутом лежал масляный пакет из-под чипсов. Горлышки не знали, что высидеть им недолго, потому что неопределенного вида люди, ночующие в парке, уже вышли на охоту с пустыми сумками, надеясь к обеду заполнить их тарой, оставленной вечером влюбленными парами, или пьяним компаниями. Заложив ногу на ногу, я уперся спиной в стеклянную стену, ощущая как немая изнеженная прохлада светлого утра расходится по телу. С тумбы для афиш, воткнутой в асфальт в нескольких шагах от конуры, были сорваны напластования объявлений и неопрятно разбросаны вокруг нее – кто-то получал удовольствие от срывания не очень чистой уличной бумаги.

5:25 Написав письмо ему, через два дня я встретился с человеком, который носил бороду, усмехался через искренний располагающий звук «ды», размноженный в секунде раза три, и ждал меня в одном из коридоров университета, сидя на подоконнике с кипой журналов и сумкой на плече. Полы зеленого плаща свешивались вниз, череп имел плотную чурбообразную форму, ни в ушах ни в ноздрях не было колец, и вообще первый анархист, как я и представлял, не был ни панком ни хиппи, о которых он отзывался, растягивая рот в ухмылке, очень пренебрежительно. Это «ды» и эта безраздельная улыбка, открывающая неплотно расставленные крупные уголки зубов, сопровождали любое его высказывание – как у старого баяна с изъезженными мехами, и только в редкие минуты озабоченность (которую он так не любил), свертывала губы в жидкий жгутик, и из него вдруг выпрыгивали односложные короткие фразы, которыми он встретил меня, опасаясь, что я направлен какими-нибудь органами, по роду обязанностей интересующимися издателями журналов, которые он держал в руке. Если бы эта озабоченность почаще посещала его толстокожее лицо, то тогда бы у него нашлись силы закончить институт, который он, как и я, бросал несколько раз, и гулять с девушками, которых он как бы не замечал. Я следил за его зрачками - при общении они не скашивались на проходящих женщин. Глаза женщин на него – тоже. Отсутствие амбиций, всегда мучивших и рвавших меня изнутри, сделало Кирилла человеком вялым и малоподвижным, для которого единственным удовольствием было нерегулярное чтение и регулярное пьянство по субботам, человеком, который в 25 лет наивно смотрел на мир, юридико ухмылялся, не понимая, что при общении с людьми нужно проявлять меньше открытости, больше осторожности.

Когда мы вышли для разговора на улицу, он несколько раз вытаскивал из-под полы толстого ватного плаща наручные часы, привязанные к джинсам белым шнуром и поглядывал на них. Среда спального района, застроенного панельными домами, разбитые подъезды которых похожи на грязную конуру, где живет неопрятная серая

собака, мало располагали к поступлению в университет, но Кирилл поступил, а на четвертом курсе был отчислен за несданную сессию. После этого он еще год изображал студента на истфаке в Казани, который бросил сам, потому что влияние социального происхождения, оттягивая его назад, постепенно притупляло блеснувшую в 17-18 лет остроту мысли, нашептывая, что науки это - скучно, а на жизнь можно заработать дворником или охранником, кем он и работал. Через несколько месяцев после нашего знакомства, он устроился инспектором в заповедник и пропал на полгода, оставив мне два килограмма e-майлов, поручив завести с их владельцами заочные знакомства, прося каждого высылать материалы для готовящегося к выпуску нового журнала. Большая часть адресатов мне не ответила, другая часть – нахамила, и лишь один ответил, что у любого издания должна быть концепция, без которой невозможно писать какие-либо статьи. Через несколько лет я лично или по слухам знал всех адресатов и смеялся, вспоминая, над собой и над наивностью нового друга, который, как и в этом случае, в дальнейшем поступал очень наивно, думая, что можно выпускать журнал, в который будут писать все подряд, что можно найти авторов (пусть даже среди хороших знакомых) не объясняя им – зачем. Рассуждал, делал все он как-то наивно и непоследовательно: на собрании мог сказать, что нужно делать листовку против войны в Югославии, полагая, что достаточно подать идею, а листовку, видимо, будет делать кто-то другой. Мог заявлять, что организация нужна, чтобы каждый отвечал за свои действия, а после первомайской демонстрации - напиться и ходить по улицам, размахивая черным флагом, являя лучший пример того, как чрезмерная мягкость характера, в сочетании с жесткой идеологией, превращает в трагикомедию человека, не способного последовательно ее воспринять.

Моральное неудовлетворение, оставшееся после знакомства с Кириллом (остановившийся в своем развитии и духовно мало подвижный человек – не мог мне дать ничего) толкало на поиск новых знакомств среди левых. Мне казалось, что где-то совсем рядом, не в нашем городе, так в соседнем, под боком, существует и развивается огромное движение из честных, прямых и открытых людей, которые все понимают, которые отказались от карьеры ради своих справедливых альтруистических целей и нужно только сделать нечто совсем простое, чтобы найти их. Мне вообще всегда казалось, что многие окружающие люди способны быть с нами, но только нужно сделать что-то такое, чтобы они обратили на нас внимание, но что – я никак не мог понять, хотя интуитивно иногда подходил очень близко к такому пониманию. Однажды пришедшее осознание, что таких людей нет, что никто не возьмет ответственность на себя, что я, мы должны смочь стать такими людьми и показать пример – одно из страшных осознаний моей жизни.

Зная мою тягу ко всяким «отстойным политикам», один из приятелей по учебе сообщил, что на курс старше живет «какой-то коммунист», который всем подряд впаривает какие-то брошюры. Когда я с ним встретился, он, вынув из сумки толстый журнал в жирной красной обложке, на которой метровыми буквами было написано: «Марксист», предложил приобрести его. Кое-как отвертевшись от покупки, но взяв почитать издание, которое очень хотело казаться зубастым, но кусаться не умело, я был поставлен в тупик вопросом о военном конфликте октября 1993 года в Москве. Всегда живя в первую очередь своими собственными интеллектуальными переживаниями, существуя внутри прозрачного кокона своих мыслей, я редко замечал события, которые могли бы быть приложимы к размышлениям моего последнего месяца. 1991 и 1993 года были для меня картинками теленовостей, характеризующимися

скучными словами «демократия» и «рыночная экономика». Общение с марксистом быстро превратилось в спор, в ходе которого он продемонстрировал сразу за все течение, к которому себя считал принадлежащим, все его недостатки - это с гордостью демонстрируемая ортодоксальность, заносчивость в споре и ссылки на источники своих воззрений при любых ответах, напыщенность и щеголянье словесными оборотами, считанными и заученными из текстов учителей.

- Парень, - пытался внушить я ему, - ты живешь в конце 20 века, а не в начале. Попробуй скажи слово «прибавочная стоимость» какому-нибудь пацану на улице – он же над тобой ржать будет, - но у него были готовые ответы и он ответил цитатой о том, что «массы» не всегда разбираются в тонкостях идеологии, пригласив меня на демонстрацию седьмого ноября.

5:26 Поднявшись с лавки, я подумал, о чем будут писать сегодняшние газеты и, не сдерживая себя, рассмеялся, чувствуя, что ровные свинцовые башенки их столбцов будут, наверное, писать о том, о чем я всегда мечтал чтобы писали эти подлые поганые и трусливые явления культуры. Сегодняшнее телевидение будет выглядеть еще смешнее, и что меня ожидает нескончаемый поток информационных подарков. С другой стороны ни в улицах, ни в прохожих, которые, мне казалось, спешили все-таки медленнее, чем обычно, ничего не изменилось, зато столько изменилось в человеческих отношениях за одну эту ночь! Когда выплусь, я позвоню на работу – если она теперь существует, и сильно извинюсь за то, что проспал, обзвоню старых друзей, чтобы задать второстепенные вопросы, пытаюсь понять насколько они изменились, а потом пойду погулять по центру города, всматриваясь в дома, и самое главное: в банки, магазины и обменно-валютные пункты, пройду по улицам, по которым порой ходил, погруженный в горечь и слепоту сердца, а теперь пойду, подталкиваемый смехом и радостью.

В кармане куртки рука обнаружила несколько рекламных флаеров, предлагающих посетить ювелирный салон, которые мне сунули вчера в метро. Я без сожаления бросил их на мостовую, как неприятные воспоминания о старом ушедшем мире. Легкий поток утреннего воздуха не сразу дал им лечь на асфальт - подхватив, пронес и разметал в разные стороны прямоугольные синие листочки, на несколько секунд настроив меня на патетическое настроение.

5:27 После знакомства с пухлым марксистом, которого я заставлял в библиотеке над Плехановым или пропагандистской книжкой «Политиздата» советских времен (такую побрезговал бы читать как источник новых мыслей любой современный левый), я стал ходить на демонстрации 1 мая и 7 ноября, но не так, как ходил, учась в школе, когда учителя сгоняли всех силой, а старшеклассники, сняв пионерские значки, ходили среди младшеклашек и с треском лопали острыми булавочными застежками розовые шары, - а сознательно, чувствуя, что теперь за это могут обсмеять знакомые или родители. Если в школьном возрасте все это для меня было абстрактно-радостным мероприятием, потому что этот день был выходным, а вечером давали салют, теперь – глядя на лица старичков, цепляющихся за красный транспарант «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», чтобы их не унесло ветром с площади, охватывала тоска, и хотелось сделать что-то такое, чтобы завтра показали по телевизору, чтобы все узнали, что вот – есть на свете мы – молодые, которые недовольны и которые хотят революции, и что нас мало, мы никому не нужны и смешны, но мы есть и хотим заявить о своей позиции. Я всегда чувствовал и считал себя молодым, свежим и недовольным, высмеивающим малейший недостаток, малейшую несправедливость в любом социальном механизме, который только ради

этого и может быть уничтожен, ощущал себя амбициозным, никому ничего не прощающим Ги Дебором, который вышел предъявить Чарли Чаплину очередное «Вы!» от имени нового молодого поколения. Мне всегда не нравилось – все! Не в смысле рациональном – я понимал: что-то лучше, что-то хуже, но это было всегда мое мироощущение – меня ничего не устраивало, какое-то вечное беспокойство подгоняло меня все дальше и дальше, заставляло находить и читать новые книги, заводить новые знакомства, учить себя прислушиваться к тому, что происходит и о чем говорят, заставляло быть одиноким. Антагонистический способ мышления, нонконформизм внутри нонконформизма, был моим способом, противопоставление, антидействие, были всегда тем, что меня только и удовлетворяло и давало радость жизни.

На демонстрации несколько молодых коммунистов, которые кучковались отдельно от стариков, сначала попросили меня подержать красный флаг, а потом предложили пораздавать листовки. Делая это, я наткнулся в реденькой толпе на сокурсников, пришедших «чисто приколоться», и один из них, как тут же выяснилось, оказался не последним лицом в городском студенческом профсоюзе, который никак себя не проявлял уже несколько лет.

- Чем же вы занимаетесь? – спросил я его.

- Собираем членские взносы, - сам над собой смеясь, пояснил он.

На демонстрации я спросил коммунистов про «анархов», и те ответили, что они не появляются нигде уже года два. «Зачем они тебе ? Вступай к нам», - сказал пухлый марксист, но я уперся как баран и ни разу в жизни ни вступил не в одну из красных группировок, никогда не изменяя своей ревнивой идее. На демонстрации я впервые почувствовал атмосферу толпы, которая не хочет быть толпой, которую мне хотелось бы уплотнять многократно, потому что, казалось мне, чем больше было бы таких толп, тем больше бы я был счастлив. Позже, когда немного обвертелся и услышал от старичков, держащих красные плакаты слова «жиды», «Сталин», когда насмотрелся на них вдоволь на еженедельных пикетах около «Дворца профсоюзов», завсегдатаям которых хоть сейчас можно было выдавать желтые билеты и на то, какое жалкое и отталкивающее впечатление они производят, собравшись вместе, я перестал даже из вежливости поддерживать красные флаги и транспаранты. Что-то произошло с красным цветом, от него тошнило, от него подымалась скука и недоверие - от него веяло чем-то затхлым и давно ушедшим.

На демонстрации я впервые от и до ознакомился со сценариями таких мероприятий. Все начиналось со сбора, потом следовало шествие, потом околической митинг с речами, во время которого в толпе продавалась пресса (эти газеты и журналы можно было купить только здесь два раза в год – 1 мая и 7 ноября), а потом большая часть разъезжалась по домам, а меньшая, из молодежи, которой хотелось покричать, побуянить, заявить о себе, выезжала к кому-нибудь на квартиру или на природу. Не сворачивая плакаты и флаги, мы залезали в трамвай, и ехали, подсчитывая по дороге небольшую выручку от проданных газет, тут же ее пускали «на общаг»: на пиво, хлеб и какой-нибудь паштет к нему. Новые пассажиры, входя в салон, отшатывались от плакатов, а кто-нибудь обязательно открывал окно и высовывал черный флаг, развивавшийся на ходу.

Все заканчивалось поздно, хотя к полуночи из всех оставалось только трое – Харитонов, Панкер и я. Если была осень, мы шли к Харитонову или в бар, а если как сейчас тепло, шатались по улицам, литрами истребляя пиво, не пропуская ни одного попавшегося на пути киоска, которое, казалось, животы могли вмещать бесконечно, а темные проулки уютно скрывали тебя, стоило только сделать шаг в сторону, чтобы

освободить организм от лишней жидкости. Рано или поздно мы останавливались в каком-нибудь дворике. Помню, однажды в одном из них были детские качели. Мы прокачались на них до утра, до хрипоты споря, потому что пива уже совсем не хотелось, а разойтись все никак не могли – хотелось как можно дольше продлить редкое в повседневной жизни ощущение солидарности, которое возникало, когда мы все собирались вместе. Я не мог понять тех, кто, посидев с нами часок после демонстрации, выпив банку сока, скорее убежал домой, словно были дела более важные, словно его не касалась возникавшая на несколько часов легкая иллюзия приближающейся революции.

Политик-левак, которому далеко до парламента, который не хочет в парламент, живет уличными акциями (они его жизнь и его радость, они его воодушевляют на несколько месяцев вперед). Я тоже жил пикетами, демонстрациями, ожиданиями провести ночь в милиции, подолгу вспоминая каждую акцию. Я взял себе за правило: не вступать в споры с горячими розовощекими бабушками, и с бойкими старичками, у которых в руках костыли, а лучше – вычислять редкие незнакомые молодые лица, подходить к ним и заводить беседы, с намерением расположить к себе, обменяться адресами, пригласить поболтать после демонстрации. Именно таким способом я нашел Панкера.

5:28 Я увидел высокого парня, одетого во все черное, с головы которого свешивался густой каштановый клок волос. При первом взгляде на прическу знающий человек сразу же определял, что это давно не подбриваемый заросший ирокез. Чувствуя себя неловко среди идиотов и псевдокоммунистов, он сильно хмурился и пытался вслушаться в речи, стреляя по верхам голов глазами, от налитого настороженностью белка и жгучего карега взгляда которых, могли треснуть гранитные плиты на памятнике Ленину, где выступали партлидеры. Смуглый профиль, который хотелось рассматривать со всех сторон и любоваться его показным надменным выражением, сдвинутыми бровями, ровным лбом и тонкой бледной кожицей, оттененной черной одеждой.

Когда Панкер ходил по улице, меряя асфальт высокими ботинками, время от времени поправляя выбившийся, как у девочки, сочный каштановый вихор, то казалось – это черный катер неторопливо спешит по тротуарам, не сворачивая и никому не уступая дороги, и девушки недоуменно оглядывались, а мужчинам хотелось подойти и ударить его. Свое шествие по городским улицам он превращал в целое представление, обставленное какими-то резкими ироничными ужимками, косыми подрезающими взглядами, выкуриванием сигареты, подносимой к губам непререкаемо уверенным жестом, словно он не вышел в город, в котором общественный транспорт, общие для всех улицы и правила движения по ним, а словно это хозяин вышел осматривать свои необъятные владения. Во всей этой комедии, на персонажа которой, как на электрощиток можно было повесить табличку «Не влезай, убьет!», было много эпатажа, но, наблюдая за ним, мне невольно хотелось быть таким как он, подражать ему.

Панкер был еще одним пареньком из района панельных девятиэтажек, обступающих старый город со всех сторон. Он начал жизненный путь в двенадцать лет, выпив водки вместе со сверстниками на одной из плохо подметенных бетонных лестничных площадок, около трубы мусоропровода. Отгасканный за ухо в маленькой прихожей с уютным рубиновым светильником матерью, почувшавшей запах, он решил, что теперь стал взрослым. Ухо распухло, гулять во двор не пускали целую неделю, так что, сделав уроки, приходилось шататься по квартире. Эти карательные меры, однако, не помогли – уже в пятнадцать лет Панкер хлестал водку во дворе с одноклассниками как

воду, отличаясь от них особенной агрессивностью и пристрастием к жесткой молодежной музыке, которую пытался донести до непонятливых окружающих. В двадцать лет Панкер уже был профессиональным алкоголиком, тщательно, но безуспешно скрывающим свое пристрастие от матери. Была больная печень, шрам на лбу и сшитая правая ноздря, оставшаяся после препирательств с охранниками в одном из рок-клубов. После окончания школы, скрываясь от военкомата, Панкер стрелял деньги у матери, сажал молодой организм, пока не поступил в институт. Когда я его встретил, он был на третьем курсе, пил только по праздникам, плакался на здоровье и читал книги, удивляя немногих родных, уже было списавших его в алкоголики, неоднозначностью своей личности.

К сожалению, Панкер оказался малоинициативным: от него почти никогда не поступало предложений по практической деятельности, на собраниях он все время молчал или говорил не в тему. Он опасался взять на себя большую ответственность, чем остальные, опасался, что, целиком посвятив себя делам группы, окажется маргиналом, полностью оторванным от общества, в чем я его не обвиняю. Мне всегда хотелось сказать: «Возьми на себя больше. Будь активнее, иначе ты просто обычный обыватель. Наша группа – это единственное светлое, что у тебя будет, кроме, может быть, будущей жены. Наша спонтанная группа – это то, что тебе дает возможность самоактуализоваться в этом обществе именно так, как ты хочешь, а не так как тебе предлагают на работе, на крысиных бегах метро, у ног начальников и господ, но только для этого нужно не жадничать, а отдавать как можно больше духовных сил. Это тяжело и кажется лишним, когда цель неясна, но на что же тогда отдавать силы: на карьеру, на ухаживания за девушками, на ребенка, когда он появится – но тогда почему ты среди нас?».

5:29 Глядя на парк напротив остановки, я не видел в нем ни кленов, ни каштанов, а только как мы – именно на этом месте, навсегда поссорились с Олей. В какой-то момент настало ощущение, что наши взаимные чувственные проблемы – это несколько тысяч нитей, которые переплелись в невозможный клубок, и чтобы развязать его, нужно потратить несколько недель. Нужно сесть, брать каждую ниточку в отдельности и медленно выпутывать, находя ее путь, развязывая бесконечные узелки, но времени на это нет: мы стоим на платформе, все вокруг несется, и нужно решить – либо мы заходим в отходящий поезд и везем этот клубок с собой дальше, или мы разрываем, и каждый едет в свою сторону. Эти нити и узелки оплели нас самих, и какую бы нейтральную тему мы ни затронули, все равно получался конфликт, потому что взявшись за одну нить, ты неизбежно тревожил другую – самую болезненную.

От неприятных воспоминаний я произвольно дернул плечом, опасаясь как бы она вдруг случайно не вышла из-за дерева, хотя она никогда не выйдет.

- Мне не нравится с кем ты ходишь, мне не нравятся твои друзья - недоумки. Мне не нравится, что ты читаешь, мне не нравится, что ты работаешь охранником, хотя с высшим образованием и твоими мозгами давно бы мог работать в какой-нибудь фирме. Ты же не лох, как твой это Маркин, ну почему ты не хочешь жить нормально, – сказала она все сразу.

Сплюнув, поднимаюсь и иду дальше, а летний тротуар поет, а сухой лист, которого раньше времени сорвало с ветки, суется в угол бордюра, как настырный мышонок в несуществующую нору, над которой властно возвышается башня уличной урны. Замкнутому в малочисленном микроклимате нашего общения, мне очень трудно, но нужно было найти девушку за его пределами. Когда это удалось, в общении с ней я

совершал одну ошибку за другой и, наверное, как этот самый лист лез не туда.

5:30 Вообразив себя невымытым агитатором года эдак 1917-го, я поднялся в четыре утра и поехал на проходную одного из заводов, заняв место прямо напротив вертящегося турникета. Я стал совывать в тяжелые мозолистые руки с широкими ногтями анархистские газеты. Когда площадь перед проходной заполнила огромная толпа из нескольких сотен выбритых бетонных лиц, меня прижало к окошку вахты, защищенному железной решеткой и чуть было не снесло в крутящееся месиво турникета, к которому можно было бы привязать ременный привод, чтобы он зря не вертелся, а давал хотя ток бы лампочкам в туалетах. Замученные коммунистическими агитаторами с портретами Сталина на длинных шестах, появлявшихся тут тоже время от времени, даже бесплатную газету сонные рабочие брали неохотно, а некоторые прямым ходом посылали в урну, даже не взглянув. Увидев такие жесты, я стал в наглую подступать и кричать прямо в лица:

- А ну, берем газеты! Как организовать забастовку, если не платят зарплату, Как обмануть хозяев, как отстаивать свои права! Анархистская газета! Газета для рабочих! – кричал я.

На мои крики из-за вахты вышел охранник и предложил освободить проход. Но я, закосив под тупого пацаненка с малопробиваемым на вербальные аргументы сознанием и круглыми чугунными интонациями, громко и обидчиво спросил:

- А че я делаю? – на что он так и не нашелся, что ответить, посчитав, что лучше потерпеть такой тупизм минут десять, чем вступать в дискуссии.

Взбодрившись от собственного голоса и появившегося в сонных глазах интереса, я быстро раздал газеты, чувствуя себя так, будто один совершил революцию, но воодушевление быстро растворилось от вида площади, где тут и там валялись выкинутые газеты. Подобрал разбросанные, вмятые в грязь остатки, я ушел, утешая себя тем, что их еще не достаточно прижали, ощущая какую-то интеллигентскую обиду на то, что меня такого всего из себя альтруистичного видимо не восприняли всерьез.

Следующая попытка агитации была предпринята на пикете, который каждый вторник старики устраивали в центре города. Выходя из подземного перехода, прохожие попадали в самое пекло коммунистического митинга, а когда на их лицах проходил первый испуг, его сменяли ироничные улыбки. За несколько лет схема была отработана до мертвого автоматизма, где каждый неизменный участник знал свое место. Дед, которому я дал мысленно прозвище - Рыжая Борода, приходил и, раскрыв огромный кейс, раскладывал на перилах перехода «Трудовую Россию», другой – вывешивал флаг, еще один - устанавливал стойку для мегафона, и потом держал ее в течении всего пикета, а остальные занимали позиции по краям островка – каждый строго на своем месте.

Я вставал прямо напротив валившей толпы, чтобы быть заметным, болтая с двумя молодыми коммунистами. Они, не стесняясь, цинично потешались над стариками – и было над чем. Тут появлялись типажи, в которых при первом же взгляде читалось неагрессивное безумие. Таких характерных типажей было двое – дядя Саня и Незнайка.

Первый, еще в 1982 году, будучи студентом, написал письмо Брежневу. Он обвинил его в измене основам марксистско-ленинского учения, после чего был отправлен на принудительное лечение в дурдом, откуда вышел в 1987 году человеком, со сдвинутой куда-то в сторону воспаленной пустой политизированности, психикой. С этого момента в любое время года он ходил в синих брюках, синей рубашке, синей

ветровке, которую никогда не застегивал и стоптанных туфлях. Подтверждая народное поверие о том, что дураки с легкостью переносят физические лишения, даже в тридцатиградусный мороз он по два часа простаивал на пикетах, уперев руки в бока. Гладкое острое лицо выдавало его за психически вменяемого человека, с виду слегка высокомерного, и только яркий блеск в глазах за очками, каким вспыхивает электрическая лампа, чтобы через секунду навсегда погаснуть, вызывал подозрения, а поговорив с ним минут десять вы убеждались, что перед вами овеществленное безумие. Чистая, складно сложенная с точки зрения грамматики речь, произносимая приятным голосом по своему смыслу была несодержательной. Начав говорить он физически не мог остановиться. Заговорив с ним по глупости один раз, я выслушивал бред около полутора часов. Взяв кончиками пальцев за одежду, он не отпускал меня, наседая все больше и больше, а напоследок дал почитать листовки, отпечатанные на серой бумаге с помощью печатной машинки – для этого человека время полностью остановилось где-то в начале 1980-ых годов, когда даже за такие листовки можно было сесть, но сегодня их просто не хотелось брать в руки. Эти листы, с выпадавшими буквами «о», от слишком сильного нажатия на клавиши, были единственным родом его социально-политической активности.

Еще более безнадежно и патологически оторванным от жизни реально и рядом существующего общества был второй старик. За то, что он в любое время года ходил в высокой широкополой шляпе, его прозвали Незнайкой. Из-за нее он выглядел как карикатурный персонаж, шагнувший из кадра детского мультфильма прямо на коммунистический пикет. Очки в металлической оправе – единственное чистое, что было на нем, потому что и шляпа и плащ, и сапоги производили впечатление вещей только что вытасненных из помойки . Свою политическую активность

Незнайка проявлял в том, что, придя на пикет, вставал в центре асфальтового островка и, опустив вдоль истоптанного плаща руки, покрытые гнойничками, вдруг начинал плакать, не изменяя мимику лица. Струи из под очков стекали на ворот плаща, а молодые коммунисты начинали давиться от смеха: «Этот дурак опять ревет». Я и сам не знал, что делать – то ли хохотать, то ли плакать вместе с ним, пока кто-то из пикетчиков не отводил его в сторону. Большинство из них были полностью вменяемыми пенсионерами, но именно такие как дядя Саня или Незнайка и еще некоторые, в первую очередь бросались в глаза. В период малой политической активности, радикальные группировки часто собирают в себе самых отчужденных и самых безумных личностей, с психическим миром мало адекватным реальности, которые представляют как бы изнанку революции, в тот момент, когда ее не существует, о которой никогда не говорят, потому что считают, будто в ее время придут совсем другие люди, но это не верно. Например, такие как дядя Саня первыми получают награды во время гражданской войны – он был бы альтруистичным идеальным фанатиком, который никогда бы не выдал товарищей, попав к врагам, но сегодня он был просто невостребован обществом и потому психически деградировал все больше и больше. Когда после смерти матери старший брат обманом продал квартиру, дядя Саня окончательно погиб. Если бы Ленин увидел своих преемников конца 20 века, он сорвал бы галстук и топтал бы его от досады.

Глава 2.

8:01 Отдел, в котором работал Лавлинский, за исключением его самого состоял из молодых женщин. Половина из них только собиралась выйти замуж, другая - уже не жили с мужьями, и потому для всех для них он был идеальной мишенью для вымещения обиды на мужской пол. Начальница отдела – девушка с выступающим покатым животиком, выросшим от пристрастия к бесконечным творожным сыркам, которые она покупала за рабочий день несколько раз, - начинала утро с рассказа о том, как вчера вечером (пол-двенадцатого) к ней завалился бывший муж, как она опять его пустила, как он разбудил ребенка, как он был пьян и утром опять сбритой щетиной засорил раковину, которую даже не помыл за собой. При этом, никогда не называя по имени, она обозначала его как «чудовище», «урод» или «изверг», никогда не скрывая не только своих негативных чувств к нему, но и вообще каких-либо тонкостей их донельзя доброжелательных отношений. Водя из под узких очков глазами, похожими на сизых рыбок, своими резкими выражениями и легко допустимым матом, она создавала в отделе крайне сгущенную серую атмосферу. Ее с удовольствием поддерживали остальные, добавляя резкости грубоватыми словами и рассуждениями о межполовых отношениях самым спокойным образом, слушать которые Лавлинскому, не имевшему ни жены, ни подруги, было тяжело.

На новый год приходилось наблюдать свой отдел и вообще весь концерн в раскрепощенном состоянии. Тогда он понял, что, по большей части, собрались люди зажатые работой, за которую они держатся зубами, и семьей, от которой они рады бы избавиться, но это невозможно и потому единственный доступный способ развлечения для них это – бары по субботам и недельные туры в европейские страны – по отпускам. Наблюдая как его начальница Агудова, вдруг ни с того ни сего перегнувшись, стала блевать себе на длинную юбку, и как все сотрудницы зашущукали, что у нее больная печень, и как ее потом откачивали, прежде, чем погрузить как бревно в машину, Лавлинский чувствовал, что единственный выход для него из всего этого – стать фараоном. Изучать больше древнеегипетскую письменность, читать книги по истории Древнего Египта, изучить биографию Франсуа Шампольона, изучать коптский, купить хорошую мантию, выстругать отличный трон, накопить, наконец, денег и уехать в Египет. «Этот мир не для меня, - думал тогда он, глядя на них.- Этот мир для таких, как они», - думал он, отказываясь произносить новогодний тост.

19:14 Лавлинский знал, что в глубине его стеснительного, мягкого темперамента скрывается мощное необычное сознание. Бытовые условия не дают ему проявиться, но в экстремальной ситуации оно заявит о себе как бетонный пол, скрытый под слоем песка. В действительности он великий человек, рожденный быть фараоном или каким-нибудь легендарным царем, которого помнят через тысячелетия, о котором слагают легенды, и только ошибка при перелете его души из одной жизни в другую, сделала его тем, кто он есть. В детстве, вертясь перед зеркалом, щупая жидкие бицепсы, разглядывая уродливое лицо, он ощущал себя то суперчеловеком, то жалким школьником, который даже не может постоять за себя. Только бабушка его хвалила, только бабушка называла его сильным, хотя он был хилым, называла умным, хотя он учился на тройки, называла смелым, хотя он боялся смотреть фильмы ужасов.

Добираясь до дома на метро, Лавлинский со стыдом и томлением, похожим на переживания, которые испытывает верующий, в воскресение едущий в публичный

дом вместо церкви, поджидал, когда из темноты вынырнет изукрашенная красным мрамором платформа. Выходя из вагона, он думал, что все на него смотрят с брезгливым упреком, как на олицетворение самой гнусности, проползающей под праведными взорами большинства. Синяя женщина в киоске у эскалатора, продавщицы газет, подоткнутых до самого потолка на тонком каркасе, улыбающаяся женщина, рекламирующая на плакате приятные жевательные резинки, а больше всего – пассажиры соседнего эскалатора, поднимающегося в противоположную сторону, которые мучили Лавлинского косыми пристальными взглядами из под плафонов, заставляли его гадливый страх распространяться все шире и шире. Еще немного, ему казалось, и весь противоположный движущийся ряд, хором, как солдатский батальон, крикнет одного слово: «Извращенец!». С самого детства по рассказам бабушки Лавлинский знал, что «извращенцы» - это самые недостойные люди. Это – гомосексуалисты, люди, которые прижимаются к тебе в транспорте, изображая на лице немощь и нетерпение. Люди, которые слишком часто трогают свои половые органы, девушки, которые ходят, взяв друг друга под ручки («Лесбиянки», - шипела бабушка), которые поджидают в ночных переулках маленьких мальчиков или девочек, чтобы вырезать у них ножичком части тела,- короче люди, которых изворачивает изнутри похоть. Но теперь он сам ощущал себя таковым.

8:17 Заняв рабочее место, Лавлинский сразу в нескольких окнах набрал «Древний Египет», для маскировки во весь экран раскрыв табличку с адресом клиентов фирмы, но начальница, войдя в кабинет, все равно посчитала нужным его задеть:

- Лавлинский, опять порнографию смотришь!

- Я не смотрю, ответил он, краснея, будто действительно этим занимался.

- Что бы ты ни смотрел – все равно порнография!

- Почему ?

- Потому что ты смотришь всякую фигню!

Для резкой раздраженной женщины это была обыкновенная сиюминутная болтовня, о которой она тот час же забывала. Не было бы Лавлинского – она хамила бы в другое подвернувшееся место, но для него это были пусть привычные, но все равно острые уколы. От них Лавлинский чуть ли не подпрыгивал, и ему иногда хотелось закричать: «Отстаньте от меня, наконец, все вы ! Не трогайте меня! Ну что я вам сделал ! Я же вас ничем не обидел!»

- Я не смотрю «всякую фигню», - пробурчал он.

- Нет смотришь! – раздражаясь с первой же минуты рабочего дня оттого, что какая-то сопля смеет ей возражать, закричала она.

- Я только по работе смотрю.

- Ну смотри-смотри, - притворно-примирительно согласилась она, почувствовав, что самый главный дурень офиса сегодня почему-то слишком упрям и, возможно, она бы продолжила его обрабатывать, если б не зазвонил телефон. Поняв, что ближайшие минут пятнадцать лучше пока ничего не открывать про Древний Египет, Лавлинский с усердием страуса стал изучать таблицу, которая не нуждалась в изучении.

Раскачиваясь на стуле и смеясь в трубку пробивным развратным смехом, будто шариковые подшипники падали на гладкие железные листы, Агудова разговаривала, а внешне отрешенный как цыпленок Лавлинский в который раз думал о том, что когда-нибудь он ей отомстит. Он заставит ее ползать голой и поскуливать, и представляя это, от наслаждения он уже ни видел и ни слышал все вокруг. Еще бы заставить то же самое делать директора ВЭДа (отдела внешнеэкономической деятельности), или лучше сделать его писцом, чтобы переписывал тысячами документы на глиняных

табличках – днями и ночами, до боли в кистях и покраснения глаз. Вообще, если бы Лавлинскому дать возможность, то не поздоровилось бы очень многим: директору ВЭДа - за непочтительность, компьютерщику, за то, что до сих пор не сменил кулер в компьютере, гендиректорам – за то, что гендиректора, соседке по лестничной площадке за то, что нехорошо посмотрела и, конечно же, бухгалтеру, которая заставляла переживать множество унижений, ей Лавлинский засовывал бы купюры во все возможные щели тела. При благоприятно сложившихся обстоятельствах, он мог бы быть крайне изобретательным садистом, медленно раздирал бы половые органы и рты.

19:34 Раздеваясь в прихожей, совершая необходимые приготовления, Лавлинский чувствовал, как приятное необратимое желание полностью захватывает его. Он чувствовал себя, как подросток, дождавшийся, когда все, наконец, ушли из квартиры, и можно заняться онанизмом. С нетерпением он вытащил из кухни стул и, подложив под него несколько досок, накрыл сверху скатертью, чтобы он стал похожим на трон. Так как царям не подобает сидеть на жестком, на сиденье он положил большую подушку, а на ноги надел юбку, приблизительно похожую на ту, которая была одета на фараоне в одной из иллюстраций книги про Древний Египет. Вместо скипетра взял гантелю, с которой снял вес, вместо державы – мяч, а к подбородку приклеил искусственную бороду. Он знал, что фараоны, в знак божественного происхождения, прикрепляли их на лицо, так как волосяной покров на лицах древних египтян отсутствовал.

Усевшись на сооруженный постамент, Лавлинский замер так, как подобает застывать фараонам в гробницах – навечно устремившись в смерть. Погружаясь в медитативное спокойствие, молча, за несколько секунд превращаясь из менеджера по рекламе в бога на земле, Лавлинский чувствовал, как все обиды и мелкие оскорбления, растворяются подобно каплям масла в глубоком угрюмом пруде, чувствовал в какую мощную историческую, привыкшую унижать и подавлять, личность превращается он. Гитлер, Сталин, Наполеон, Рамзес II, Ленин, Эйнштейн, Христос – масштабные исторические личности, которых он не мог переварить, понять: как так можно быть известным через сто, двести, тысячу лет, - становились его друзьями... Держа скипетр с державой приподнятым в руках, не меняя позы и выражения лица, он громко сказал:

- Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных богов, мудрость и прелесть Вселенной, Исток жизни и смерти, проклятья и прощенья, любви и зла, Смысл Смысла и Абсолютной Истины, повелеваю! Псов и чернь – усмирить! Виновных распните, и пусть стоны их будут слышны в течение трех дней по всем верховьям Нила. Кто осмелится сочувствовать им словами, или поднести воды, повесьте тех, вместо них. Кто предал Бога – того уничтожу! Кто предал Бога, того я лишу жизни после смерти! Кто предал Бога, того в проклинаяю! Их мужчины лишатся семени, а женщины станут рождать цыплят, - набрав больше воздуха в легкие Лавлинский заговорил еще громче. – Аще кто предаст обязанности свои предо мною – предам забвению и лишу наследства. Плотину в Нубисе стройте скорее. Нерадивость из рабочих изгоняйте кнутом. Нерадивость – болезнь всех смердов, кою излечим. Тростнику не жалеите и глины фараоновой с берегов Нила не жалеите тоже. Рабов иноземцев возьмите больше – пусть лягут. Канал достройте до тех пор, пока Апис не оплодотворит пятьдесят коров и пока утки не снесут яиц.

Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных богов, мудрость и прелесть Вселенной, исток

жизни и смерти, проклятья и прощенья, любви и зла, смысл смысла и абсолютной истины, повелеваю! Народы моря, опасность от коих нависла над Нилом, остановить!

Я, Царь Шумера и Аккада, Сирии и Ливии, Египта и Вавилона, Лагаша и Ура, Царь Царей, Царь Мира, Бог – из всех земных богов, мудрость и прелесть Вселенной, исток жизни и смерти, проклятья и прощенья, любви и зла, смысл смысла и абсолютной истины, повелеваю! Повысить жалованье в армии.

8:16 Процесс рукопожатий при появлении в офисе был особенно неприятен Лавлинскому. Для человека, смотрящего на мир с ожиданием какой-нибудь новой обиды, вежливые формальности, не несущие за собой ни уважения ни особенного внимания, были лишним доказательством его отторженности и тяготили его. Особенно нелегко было здороваться с сотрудниками, занимающими звучные и высокопоставленные должности: например, с директором ВЭДа, которого Лавлинский особенно опасался, потому что тот часто ездил по заграницам, вертел языком, как выгребной лопатой, каждую минуту выдавая по остренькой шуточке и вообще подавал ему, чуть ли не сжимающемуся при этом в два раза, вялую, нежмушующую ладонь крайне неохотно. При появлении генеральных директоров, продвигающихся иногда по коридорам, Лавлинский с трудом сдерживал себя, чтобы не кинуться им под ноги, в последний момент говоря сам себе: «Мы же ведь при демократии живем!».

Каждый отдел офиса образовывал свою собственную малую группу людей, проводящих друг с другом большую часть светового дня, в замкнутом помещении среди компьютеров и телефонов. Они все друг о друге знали, вместе справляли дни рождения, давали советы о личной жизни, вместе шушукались и ненавидели друг друга. Все остальные считали, что Лавлинский, раз он числится в отделе маркетинга, относится к группе маркетинга, хотя сам он так не считал. Из-за частых развязных бабских шуток он всегда чувствовал себя неуютно в коллективе.

19:35 «Играть в царя» Лавлинский начал после того, как в одном из журналов увидел рекламу элитного пива: сочно блестя красками на полразворота сидел Аменхотеп. С первого взгляда Лавлинский почувствовал надсмертную авторитарную мощь тысячелетий, осознал себя поработленным. Однажды, придя домой в пустую квартиру ему стало особенно тяжело после издевательств и приставаний сотрудниц, которые спрашивали, какой секс он больше предпочитает – анальный или оральный. Он самостоятельно соорудил трон, на котором ощутил себя совсем другой личностью, забыв, что он мелкий клерк, что сотрудницы смеются над ним, что жизнь проходит бессмысленно и однообразно. Постепенно эти сеансы он стал проводить раз в неделю, каждый раз придумывая новые речи и обставляя новыми подробностями – вначале просто посиживая, потом позволяя себе с гнева постукивать рукой о подлокотник, а потом даже поднимаясь и прохаживаясь по комнате, смотря в стены взглядом, от которого вот-вот могли вспыхнуть обои.

Поднявшись как царь – так поднимается гора, он прошептал к зазвонившему аппарату, гневаясь на бесстыдных подданных, отвлекших его от необходимых занятий и, подняв трубку, с твердым, большим чем президентское, достоинством, спросил:

- Да ?

Голос удивился и переспросил:

- А я туда попала ?

Злорадствуя над оплошностью, небольшой паузой давая понять, сколь постыдный поступок она совершает, отвлекая его, Лавлинский ответил:

- А кто вам нужен? – давая вопросительной фразе повествовательно величие.

После нескольких обменов репликами, выяснив, кто на самом деле перед ней, сотрудница приказным тоном попросила его прийти завтра пораньше и поработать за нее. Ее маленький сын заболел, и его нужно отвести в поликлинику. Превратившись из фараона в обычного гражданина, Лавлинский тут же согласился.

8:17 Сидя, он продолжал думать: пришла она или нет? Многократные поджидания на остановках, - когда он подгадывал момент ее ухода с работы и, стоя на противоположной стороне порывался подойти, но так и не подходил, - в пятницу все-таки закончились диалогом.

- Ты как Апис, - сказал Лавлинский в пятницу в автобусе, но ей послышалось другое, чем-то созвучное слово, и она чуть не накричала на него. Он вышел из автобуса очень взволнованный, так как (в его представлении) начал действия в направлении «завоевания ее сердца». Сначала нужно объяснить, кто он на самом деле, чтобы она воспринимала его не так, каким он есть, а каким он будет. Потом необходимо узнать ее домашний телефон, а через него по справочнику установить домашний адрес. Нужно однажды, подкараулив у подъезда, признаться в любви и пригласить покорять этот мир вместе. Лавлинский видел только две трудности: узнать телефон, и – насколько он ей приятен.

Через некоторое время Лавлинский действительно столкнулся с первой трудностью, которая при огромной любви и большом благоговении, обязательно испытываемыми, он считал, ей к нему, - соотносились несколько странно. Рассмеявшись как от вопроса несмышленного ребенка, она отказалась дать телефон. Смех и столь легкий отказ, конечно, очень насторожили, и он несколько дней провел в размышлениях об этом неслыханном факте, а потом предпринял попытку снова, и снова получил отказ, обоснованный слегка жалеющей его фразой:

- Мы и так видимся каждый день на работе.

«Как так – видимся? – чуть было не закричал он. – А совместный путь, который мы должны совершить? А покорение мира? А жизнь фараона?», - и потратил на размышления об этом ответе еще больше дней, хотя ничего не надумал. Он помнил, что пятнадцать лет назад мама начинала скандал со слов о том, что «в этом доме все наизнанку», что сливной бочок в туалете не чиниться уже месяц, что денег на все не хватает, что нужно покупать новый холодильник и что вообще все ужасно, на что отец говорил ей одной фразой:

- Чего ты орешь? Ты не можешь прямо сказать, что нужно ножи поточить?

«Вся женская речь часто построена шиворот-навыворот и не всегда нужно всерьез воспринимать то, что говорят женщины», - решил Лавлинский и потому просто обратился в стол справок, установил заветные цифры, а по ним – адрес.

В огромном дворе квадратного дома, с парой растерзанных качелей, весь темный вечерний воздух был заполнен снегом. Падающая густота особенно хорошо рассматривалась под согнутыми фонарями на фоне уютных желтых окон, горами поднимающимися вверх. Войдя во двор через арку, Лавлинский застыл на минуту рядом с какой-то машиной, марку которой различить было уже невозможно под толстым слоем снега. В детстве, когда он был очень свободным, до того как обнаружилась болезнь, легко сходящимся со сверстниками, когда все было просто и без всяких фараонов, он вечерами специально выходил бродить под снегопадом и бегал с мальчишками по сугробам, или они просто валялись в них друг друга, отчего вся одежда становилась мокрой, а зашиворот и под рукавицы забивался тающий снег. Это только с пятого класса после перехода в другую школу на общем фоне он уже никак не смог выделяться, потому что хулиганская компания, управлявшая классом, тут же

указала ему его унижительное забитое заячье место. Лавлинский часто вспоминал детство, хотя ему было всего двадцать семь.

Поднявшись на лифте до ее квартиры, скрытой за обитой черной кожей, оставляющей уважительное впечатление, дверью, он прождал до десяти вечера, но так и не увидел ее. Решив, что никогда такого больше не повторит, Лавлинский избрал более трусливый вариант – послал письмо по электронной почте. Кликнуть мышкой значительно проще, чем столкнуться лицом к лицу перед дверью ее квартиры, да еще произнести слова любви. Когда пришел ответ, Лавлинский почувствовал, что мир рушится, что стены и все вокруг него опадает. «У меня есть жених. Я его люблю, и скоро выйду замуж».

Не основанные ни на чем, кроме собственных иллюзий, представления распались настолько тяжелее, насколько высоко они были выстроены. Около полусотни раз он представил себя выбросившимся из окна, а вместо этого, заплатив деньги, узнал пароль ее почтового ящика, стал читать ее письма, отдав ползарплаты, узнал ее биографию, самостоятельно проследил основные маршруты ее передвижений в течение недели. Вся его любовь превратилась в подглядывания, подслушивания, подкарауливания, когда он много раз поджидал ее в подъезде или недалеко от дома, но так и не подходил, когда он несколько раз видел его с ней, а еще – в долгие одинокие вечера перед компьютером, в захождении, то на нее ящик, то на порно-сайт, то в писании стихотворений для нее. «Есть люди, которым не везет. Которых обманывают, выставляют на второй план, которые влюбляются в женщину, когда она уже любит другого, которых бросают и оставляют одинокими. Но почему я среди них?» - плакал он над клавиатурой.

7:54 Приходя в себя от прошедшей ночи, город открывает ее остатки. Кто-то до трех утра пробыл на ночной дискотеке, вызывал такси, ехал по пустым улицам, засыпая в темном салоне, кто-то обворовал магазин, кто-то патрулировал проспекты. Завтракая, Лавлинский всегда включал «Дежурную часть» и узнавал, сколько в мегаполисе произошло убийств и ДТП за прошедшую ночь. Сидя за тарелкой он с удовольствием и каждый раз с удивлением наблюдал на экране уставшие, обреченные лица, заснятые в отделении милиции на фоне решеток, которые скрывали недавнее падение, крик, заковывание в наручники, мгновенно изменившуюся судьбу. «Как угрюмо и односложно, подталкиваемые угрозами, они отвечают на вопросы...» Наблюдал искореженные машины и разодранные трупы, которые вытаскивают из них, распиливая впившееся в них железо, как под фонарями измеряют тормозной след, осматривают, ползая на карачках, «место происшествия» сержанты милиции, - Лавлинский с удовольствием содрогался. Город так разнообразен, не замирает ни на секунду, постоянно что-то происходит, кто-то кого-то переезжает, припирает к стене, унижает, а ты можешь просидеть целый день в квартире и не узнать всего этого, если тебе услужливо не подадут на экране.

Время от времени Лавлинский переключал каналы, попадал на ведущих утренних передач и не понимал – как можно быть такими бодрыми, доброжелательными и улыбчивыми каждое утро? Сколько им платят за безответные улыбки, и зачем они постоянно делают вид, что все хорошо? «Зарядка, болтовня, пятиминутная лента новостей – утро каждого». Все эти наблюдения, которые его заставляло делать постоянное одиночество, выражались в одном и том же слове, которое Лавлинский время от времени цедил в лица на экране: «Скоты».

Глава 3

5:31 В летнюю жару площадь и другая сторона улицы превращаются в асфальтовые жаровни. Страдающие пешеходы стараются огибать ее поскорее, двигаясь перебежками от одной тени к другой, словно это линии огня, где могут выстрелить в спину. Торговцам мороженым некуда деться. Они терпеливо стоят под зонтиками около холодильников, вокруг желтых бочек выстраиваются очереди за квасом, а кондиционеры, наляпанные на стены домов, сплевывают на затылки пешеходам капельки отработанной холодной воды. Как клопы присосавшись под окнами, они охлаждают комнаты внутри домов, чтобы руки не прилипали к столам, голова работала, ночью можно было спать прижавшись друг к другу, а не потеть по разные стороны кровати.

Еще в 19 веке, когда главная улица города не была пешеходной и по ней ходил единственный трамвай, здесь построили Драмтеатр. Тогда он стоял на пустыре, а теперь к нему вплотную со всех сторон прижимались разного рода постройки. Театр помнил, что раньше вокруг ничего не было, и если б ему тогда, в далеком веке черно-белых фотографий, показали его сегодняшний облик и сегодняшней соседней – банки, сверхдорогие бутики, торговые центры, офисы богатых корпораций, способных платить за аренду в этом месте, здания, изнемогающие под весом рекламных щитов, он бы попросил себя перенести в другой район.

В конце перестройки площадка перед театром превратилась в место, где антисоветские настроенные граждане устраивали пикеты против КПСС за «демократию и реформы», где как-то избили нескольких диссидентов. С этого места начали карьеру несколько политиков, потом вошедших в состав правительства и тогда, казалось, они говорили удивительно правильные и радикальные вещи, собирали огромные митинги, потому что в конце восьмидесятых достаточно было встать на тумбу, говорить, что «все плохо» и рядом собиралась толпа. Теперь их можно было видеть только в телевизоре и только при галстуках.

Необычная походка, объяснившаяся позже разваливающимися туфлями, вывела на театральную площадь высокую худую фигуру. Она сутулилась на всех подряд, способна была запросто и грубо обратиться к любому, чтобы спросить два рубля. Шея была обернута в палестинский платок поверх пестрого джемпера с несколькими пуговицами у горла, какой мог бы одеть любой паренек из спального района, мечтающий закорешиться с настоящими ворами, чтобы почувствовать себя взрослым и авторитетным в своем дворе. Черкасов действительно имел судимость за то, что в последнем классе средней школы, вместе с приятелем ограбил детский сад. Потом он быстро вышел по амнистии, найдя в себе силы оторваться от криминального окружения, и с хохотом рассказывал, как они много раз перепрыгивали украденный магнитофон и ночные горшки, не зная кому их продать. В этом джемпере и серых аккуратных брюках он ходил много лет подряд, поскольку никакой другой одежды не было и не хотелось, а в ботинках, растертых на швах до мелких дырочек ходил даже зимой.

Взглядом, направленным с выгнутой шеи, он пошарил пространство под домами. Минуя толпу, беспрерывно передвигающуюся по тротуару, но не найдя меня, заинтересовался театральными премьерами, хотя в театре был только два раза – один раз в школе и один раз с девушкой. Посмотрев афиши, он стал расхаживать туда-сюда, развязно раскидывая ступнями во все стороны – будто давая легкий пас, и таких

мячей дал бы ни мало, если б я не вышел из под арки, в которой прятался от солнца.

На ярком свете лилово-синие глаза Черкасова делались почти бесцветным (именно такие опасно-васильковые глаза я видел у русских блатных в тюрьме), в тени же они наливались темной сочной глубиной. Тонкий нос, у основания которого будто был вытасчен небольшой кусочек, был крючкообразным. В руках он держал свернутую в трубку газету, а в карманах (я в них никогда не лазил, но за много лет знакомства могу сказать, что в них обычно было) большой длинный ключ, завернутый в носовой платок, чтобы не рвал брюки, часы «командирские» со сломанным браслетом и сильно потрепанный блокнот. Черкасов выживал еле-еле, но никогда не пересчитывал сдачу – свободным демонстративным жестом он засовывал руку с несколькими пятакими в карман, не посмотрев никогда сколько ему туда положили, в разговорах с товарищами всегда четко говорил «да» и «нет», но при этом был себе на уме. На собраниях Черкасов научил нас отвечать за свои слова, пытаюсь свести их в рамки делового общения – чтобы любая высказанная идея концептуально оформлялась и тот, кто ее высказывал, брал бы за нее ответственность за ее исполнение, научил одергивать завравшихся, воображающих себя неистовыми революционерами, ребят. Иногда приходят люди, которые, размахивая руками, требуют, чтобы им дали пистолет, при отсутствии сделанных реально хотя бы небольших дел, - называл себя «неавторитарным марксистом».

По пренебрежению к одежде, целомудренному образу жизни, несмотря на грубовато-матерную манеру общения, Черкасов напоминал молодого отшельника, ушедшего в пещеры, измученного тяжелыми вопросами и борьбой с плотью, которого после смерти причислят к святым, а пока ему негде приткнуться среди людей со своими непроверяемыми, но и недоказуемыми одновременно апориями. В дополнении к хитрости, доходившей до интриганства и какому-то марксистскому иезуитству, создававшему впечатление, что на все вопросы в мире давно даны ответы и необходима только «правильная партия», ему не доставало ментального стремления к новой информации. Отсутствие стремления к новым идеям, значительно принижало его, сознание находилось в закупоренном состоянии книжного советского социализма. На все мои предложения почитать новую философию он отвечал: «А ты докажи, что мне это нужно!», и я не знал, как доказать, потому что польза от некоторых действий осознается только в процессе этих действий или после того, как они уже совершены. Его сознание было обращено назад во времени – к 1917 году, и все: от словесных оборотов и образных выражений (ленинско-советской агитации) до вообще восприятия того, что происходит в политике в данный момент в нем тут же выстраивалось в аналогию со столетним прошлым. Склад ума – светлый, но тускнеющий под грузом прошлой идеологии был своеобразным осколком бурных событий 19-20-ых веков, происходивших в России и в головах тогдашних молодых и неистовых. Отсутствие силы приоткрыть ум для восприятия нового, а самое главное – неспособность вычленив из всего потока современной культуры нечто важное, что помогло бы ему привести свое сознание в соответствие со временем, притупляло глубокую сосредоточенность ума, постепенно погружая Черкасова в тяжелый ад внутренне-неразрешимых проблем, закрывая путь для духовного роста, который так необходим, когда ты решил затеять борьбу с чугунными стенами, окружающими тебя со всех сторон.

В отличие от многих других, Черкасов был в состоянии жить среди этих стен. Его нестандартная психика выдерживала отсутствие общения, постоянную нехватку денег, поношенную одежду, старую мать, хрипло кричащую на него всегда из своей

комнаты. Он мог две недели просидеть не выходя из квартиры и после этого не казаться замкнутым и наигранно рассказывать пошлые анекдоты, как будто только что вышел из пивной. Он до сих пор для меня загадка. Такие, как Черкасов, для меня еще раз подтверждали мысль, что левое движение собирает или людей слабых и неспособных больше нигде приткнуться в жизни или каких-то монументальных типов, которые способны определять настроение умов, вести за собой, зажигать к действию, но в ситуациях вялости и низкой активности просиживающих дома годами. После ухода с завода Черкасов почти в течение десяти лет работал на дому, наматывая проволоку на трансформаторы, которые продавал потом мелким предпринимателям. В его комнате под большим портретом Че Гевары, когда ни придешь, были растянуты медные нити. Включив музыку и раскрыв окна в теплую погоду, он крутил их целый день, а поздним вечером выходил на улицу, шатался по городу до утра и такой образ жизни вел в течение десяти лет. Иногда он устраивался разнорабочим в строительную бригаду, а потом рассказывал нам байки из рабочей жизни: как бригадир пропил деньги, выданные на проезд, и они целый месяц ездили на работу «зайцами», бегая по электричкам от контролеров, как «новый русский» заставлял переклеивать пять раз подряд обои в своей квартире. Больше одного лета в строителях он никогда не задерживался, потому что не умел долго занимать подчиненное положение. Обжившись в бригаде, как и остальные, начиная разделять ее ответственность, он получал окрики и замечания, ссорился и уходил, а идти туда, куда ему напрямую указывало социальное положение (воровать), прочитав с карандашом в руке «Анти-Дюринг», он не хотел, а от алкоголизма, куда бы опять же, по всей логике, ему нужно было скатиться, какой-то ненормальной внутренней силой он удерживал себя. (Я видел однажды этот том, исчерканный при прочтении, впитанный как Библия человеком, который закончил школу двоечником, в ПТУ вместо занятий курил в туалете анашу, кое-как получив специальность фрезеровщика, на котором стояла какая-то странная светлая отметина, но он, как и все мы, был не нужен обществу – с отметиной впридачу).

5:32 Наши попытки заявить о себе не идут ни в какое сравнение с тем масштабным «пиаром», который произошел сам собой, когда мы включились в кампанию против строительства ядерного реактора. У губернатора из всех его замов, особенно выделялся обладатель выкатанных как у ночного тропического хищника глаз, бывший председатель гордумы – Лимаренко. Желтоватое лицо, устремленное куда-то вдаль, по-военному короткие ответы на любые вопросы, оставляли недоумение у телезрителей, которых тянуло в зевоту от его комментариев по поводу принятия областного бюджета, убеждавших, что «понятно, что ничего не понятно». И вот этот-то принц лимон на одной из пресс-конференций упомянул об уникальной экономической находке областной власти. Он торжественно сообщил, что на нашей АЭС начато строительство дополнительного четвертого реактора.

Не договорить, сделать вид, что не поняли о чем речь, рядовое событие подать как достижение или наоборот – принизить ненужную сенсацию, давать информацию, когда уже поздно – набор технологий, которые использует власть, чтобы завуалировать исполнение вредного решения. Только одна местная телекомпания набралась смелости съездить в трехтысячный поселок Окское, рядом с которым стояла станция, и спросить местных жителей, как они относятся к строительству еще одного реактора у них под боком. Мы оказались единственной политической группой в нашем городе, способной на конфронтацию с властью. Либералы могли работать только со СМИ – пагубная практика уплачивания денег за посещение митингов и

пикетов привела к тому, что бесплатно к ним уже никто не ходил. Экологи города занимались судебными исками, и были согласны на конфликт лишь до определенной стадии. Мы разделились на две группы. Первую группу отправили в Окское, вторую - оставили в городе для подготовки акций и работе с прессой. Поднять двухмиллионный город нам было не по силам, поэтому мы сделали упор на Окское, поставив рядом с ним палаточный лагерь. Стояло лето, все были в отпусках, да и подтягивать людей из Окского было проще, чем вести их из города.

Для чиновников, воспитанных в почтении ко всему, что имеет связь с наукой, замолкающих при словах «плутоний», «физика», «нейтроны», сам факт такого протеста был каким-то феноменальным еретическим шагом темных русских людей, говорящих на «о», ворочающих навоз, пасущих телят, не понимающих, что «ученье – свет, а неученье – тьма». Они не считали серьезным противником нас или жителей Окского, думали, что все уляжется само собой, и им не придется напрягаться, но мы разработали план, чтобы омрачить их послеобеденный отдых. Они были заинтересованы в затягивании проблемы, путем создания каких-то дурацких комиссий, посылании очередных пустых запросов, создании видимости, что «работа ведется». Они были не согласны разменивать свой комфорт на проблемы каких-то там деревенских жителей, и только планомерная деятельность, в виде ежедневных пикетов перед губернаторством и пропаганда местного населения стали давать результаты.

Собирая палатки, мы ожидали увидеть в Окском таких же вялых, посасывающих пиво людей, как и в нашем большом мегаполисе. Вместо этого нас встретили не поддавшиеся потребительской пропаганде, подчинившие себе, казалось, течение времени, жители. Они бесплатно носили нам в лагерь молоко, овощи со своих огородов, и немного обижались, когда мы отказывались пить их самогон.

Глава районной администрации Самсонов оказался в неудобном положении. Как провинциальный чиновник, он был патологически не способен к противостоянию с губернатором, но как житель Окского не мог пойти против мнения избирателей. Почти все в поселке были недовольны близостью к ядерной станции, которую построили в советские времена, не спросив мнения жителей.

Спускаясь с крыльца одноэтажного здания администрации, он напоминал румяного колобка – до того коротковаты были ножки по отношению к кругленькому толстенькому тельцу. Постоянные улыбочки, прищуренные глазки - словно он вот-вот собирался похвалиться: «Я от бабушки ушел...». Политическую карьеру он начал в восьмидесятые, став главой лесозаготовительного хозяйства. Был народным депутатом. Смекнув, что вдали от крупного города нельзя критиковать коммунистов, одним из первых остался в КПРФ, хотя по большому счету, не имел каких-то политических воззрений да и не нуждался в них. Руководствуясь в жизни чувством середины, он как барсучок принаравливался к любым условиям – вырывал себе норку уютно окапывался, разделяя, но не осознавая никакие, господствующие в данный момент, политические воззрения как свои собственные. В 1918 году он стал бы «как бы» большевиком, в 1933 году в Германии, сказал бы жене, что нехорошо выволакивать из домов и убивать людей, но поморщившись, продолжил бы дальше тянуть свою лямку, в 1936 году в Испании он стал бы «как бы» членом анархистского профсоюза. Он был человек серой массы, считал, что воззрения и идеологии это все – «как бы», потому что настоящую реальность можно потрогать руками: грудь жены, автомобиль, лишнюю рюмку водки в воскресенье, в обед. Общее ощущение довольного кряхтящего крестьянина умиляло и настораживало – политик даже

местного уровня не может быть добродушным.

В выделенном Самсоновым помещении мы провели десять лекций, на которые окчане ломались как в цирк. Через две недели все – от детей, до восьмидесятилетних старух, примерно представляли, чем уран отличается от плутония, какие бывают типы реакторов и что такое ОЯТ (отработанное ядерное топливо).

Особую взрывоопасную категорию граждан составляли пожилые женщины, в отличие от их скептически молчащих мужей. Матери, чьих сыновей государство чаще посылает на региональные войны, так как у них меньше возможностей откупиться, жены, чьи мужья чаще поднимают на них руку, и они отбиваются от них кухонной утварью, граждане, чье мнение мало интересно мужчинам, – когда дело касается их дома и семей, воспаляются быстро и готовы смести танковый батальон. Благодаря их поддержке было принято решение перекрыть дорогу, по которой к станции возили стройматериалы и персонал.

5:33 Через Черкасова я познакомился с Зотовым, утверждавшим, что главная цель левого движения недостижима. Позднее таких людей появилось больше, но первый разговор с ним меня сильно встряхнул – так выбивают с привычной дороги неожиданные мысли, сказанные любым другим, из какого-то своего своеобразно повернутого угла. Находясь среди нас, разделяя основные лозунги и этику, он, в то же время, смеялся, когда кто-то употреблял выражение «справедливое общество», которое, на его взгляд невозможно, но не сопротивляться справедливости – «тоже нельзя». Спорить с ним было трудно, потому что в ответ на этические гипотезы, он добивал собеседника фактами, из истории и животного мира. Даже в природе, говорил он, один вид существует за счет другого и только за счет этого существует, и поддерживается баланс – несправедливость неуничтожима.

- Зачем же тогда с ней бороться? – спрашивал я.

- Хотя бы потому, что лично тебе она не нравится. Мир сам по себе уродлив – тебя обманывают те, кому ты больше всего доверился. Настоящая любовь обязательно заканчивается изменой или грязью, ложь и несправедливость господствуют, в конечном счете, над сознанием и духом – и не важно соответствуют методы твоим целям или нет.

Черкасов и Зотов без взаимного высмеивания и попыток поймать друг друга на словах, общаться не могли, но так получилось, что первый познакомил меня со вторым на следующий же день после той встречи на театральной площади. Я обрекал себя на вживание в среду, которую через два года считал своей. С каждым новым знакомством круг людей и информации расширялся, я заочно узнавал по рассказам, ребят из других городов, прежние знакомства, не связанные с моими интересами ослабевали и становились не интересны и я уже четко определял свою роль в жизни. У большинства моих одноклассников, после того, как они находили стабильную работу, женились не оказывалось друзей, и нити, связывающие их с обществом, как личностей, рвались. Многие из них на года и навсегда забывали, что такое дружба, у них уже не было людей, с которыми они могли бы иногда сесть и без алкоголя «пробежаться» по любым мировоззренческим вопросам.

Втягиваясь в переписку с анархистами из соседних городов, я узнал, что левые люди моего города собираются в редакции экологической газеты, и их значительно проще найти среди правозащитников и экологов, нежели среди участников красно-коричневых демонстраций.

Гданька, с которым я там познакомился, плавно вписывался в ряд безбашенных необыкновенных типажей. Узкие, как чулки, джинсы, жидковатый грязный ирокез,

маленькие сухонькие, как у ребенка, ручки и многословная, но бессвязная речь, являлись характерными деталями его вертлявой и нервной фигуры. На следующий же день он повел меня на репетицию своей панк-группы, в которой пел. Прыгая как блоха, между самодельными, держащимися на проволочках, засунутыми в фанерные ящики, усилителями, он продемонстрировал себя. Его тексты показались мне образцом подростковой самокритики, радостно соглашающейся с состоянием добровольного гниения от дешевого невыносимого портвейна, разные сорта которого различались по цифрам («портвейн 777», «портвейн 32», «портвейн 48»), хотя на вкус были одним и тем же дерьмом, которым, по-моему, он только и питался, если не считать постоянных белых батонов. Маленький, бойкий человечек, воспринявший в период созревания идеологию музыкального бунтарства как собственный жизненный ориентир, жил воображаемыми музыкальными битвами, которые мало походили на реальную деятельность анархистской группы, что постоянно порождало взаимное недопонимание между ним и остальными нашими.

Входя в неопределенную среду «третьего сектора», заполненной беспомощными в общем-то перед системой людьми, я увидел рядом с собой троих потенциальных членов будущей анархистской группы (Кирилл, Панкер, Гданька), создание которой начал с собрания, где зачитал пятистроничный устав нового политического объединения. Кирилл, постоянно перебивая оглашение манускрипта, в конце концов объявил, что не будет состоять в нем, а только сотрудничать. Панкер, в целом воспринявший положительно, пробурчал, что «у члена слишком много обязанностей», а Гданька, цепляясь к каждой запятой, сказал, что неправильно – все, хотя саму идею он поддерживает. У нас не было учебников «по революции», не зная с чего начать, будучи еще в чем-то подростками, мы тыкались, как слепые котята, но самое главное – началось какое-то непрерывное брожение, без которого ничего бы никогда не возникло.

5:34 Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, вызванных видом небольшого парка, окрасившего мое утро в нехороший темный цвет, я двинулся дальше, пнув вперед себя пачку из-под сигарет, оказавшуюся на пути, которая, отскочив от бордюра, вновь оказалась на середине тротуара. Теперь это тоже кусок старого, навсегда ушедшего мира. Плевать, что меня никто не ждет дома – теперь все будет по другому.

- Ну и что, - ответил я ей тогда, - смотри, за что ты меня упрекаешь. Мы что, с тобой в кино не ходим? Ходим. Я что, без работы сижу? Нет. Я что, совсем неудачный человек? Ты посмотри: тысячи молодых пар живут так же, как мы и даже похуже. Только у них нет ничего, кроме работы и телевизора. У меня – есть. Куда ты меня хочешь вытащить – скажи? У меня нет знакомых и друзей уже вне моего круга, вне левацкой молодежи. Я оборву все связи – останусь один. С чем? Наедине с твоей длинной юбкой? За все необходимо уплывать куском своей собственной жизни. Если ты занимаешься левой политикой, то это одно. Если ты «просто живешь», то это другое. Тут нельзя наполовину. Ты упрекаешь меня в том, что я неправильно думаю. Но ты поспори со мной – докажи, что я не прав. Ты же не докажешь.

- Я не понимаю, чего вы хотите. Я четыре года с вами. Ваши цели почти недостижимы. Я не верю, что можно что-то изменить к лучшему.

- Я – верю.

- Нельзя на это тратить свою жизнь.

- А на что ее тратить?

- Деньги надо зарабатывать, а не фигней страдать.

- Иди и зарабатывай.

- Как ты не поймешь – вашей цели достичь нельзя. Ведь хотели одно в октябрьскую революцию – получилось другое. У вас тоже самое получится. Ты будешь думать, что строишь справедливое общество, а построишь на самом деле – «восемьдесят четвертый год». Мир так устроен.

- Как мир устроен, мы с тобой не знаем.

- Ты – дурак и фанатик.

- Сама ты дура. Ну, хорошо, допустим, я с тобой соглашусь, и дальше – что ?

- Делай карьеру, зарабатывай деньги, а по воскресеньям, встречайся ты со своими товарищами.

- Иди – и делай карьеру. Сама-то ты что-то не достигла больших высот.

- Я – девушка, а ты – просто не хочешь. Ты уперся, мозги, как прокомпасированные, и больше ничего не хочешь слушать.

Я осмотрелся. В этом месте мы часто ходили, в этом доме снимали квартиру, этот магазин работает круглосуточно. Мы часто бегали по ночам за пивом, когда вся компания собиралась у нас, а для пивных бутылок на кухне стоял огромный картонный ящик, заполнявшийся в течении месяца, который Оля все время требовала убрать, чтобы не смущать хозяев квартиры, время от времени заходивших проверить – не слишком ли сильно мы ее загадили. В этой квартире был диван, который мне никогда не надоедало раскладывать, прежде, чем мы ложились вдвоем. Я думаю, он до сих пор там стоит, да только на двери другие замки, и живут другие люди, и, наверное, соседи довольны, потому что на ночь глядя не ходят толпы в палестинских платках, не ломятся люди из других городов – «на вписку».

Способ ее существования рядом со мной я ощущал как непрерывное убегание от какого-либо покоя. С работы она бежала в детский кружок, из кружка – в правозащитный центр, из центра – в суд, из суда – клеить или шить атрибутику для предстоящей акции, от шитья – на какую-нибудь экологическую конференцию и так – неделями, месяцами, годами, боясь остановиться, боясь столкнуться с днем, когда не нужно будет никуда идти, и не важно: полезное или бесполезное событие (благо, в большом мегаполисе они беспрерывны) – главное не остаться дома и, кажется, она просто выдохлась, превратившись с вялого эколога, разбирающего картинки с детьми, отказавшись от протеста.

- Ну, и что ты теперь – начнешь деньги зарабатывать, или карьеру свою строить? – спросил я ее при расставании. – Можно подумать, тебе я мешал их делать.

- Я буду заниматься своим маленьким делом, результаты которого видны сразу же.

Один шаг через порог магазина поместил меня в мое прошлое. Прилавки, товары, кассовый аппарат, были расставлены как и раньше, я замер, чувствуя плотность поднявшихся чувств. От времени, когда наша компания последний раз зашла сюда за пивом, меня отделяло десять лет. Представив себя глупее, неопытнее, чем сейчас, я все равно ощутил тоску по прошлым событиям, невидимо, но напрочь захороненными за неделями, месяцами и годами, в которых я и все мы когда-то двигались, которые слились в голове в одно большое прошлое. Ночной поход за сигаретами слился в один обобщенный случай – Поход За Сигаретами, вечерние переходы по светофору, когда мы с Олей вместе выходили из автобуса и шли здесь на другую сторону улицы, слились за несколько лет совместной жизни в один большой переход: как будто мы вышли и бесконечно идем, поторапливаясь, пока зеленый свет не сменится красным.

Каждый уголок этого квартала шевелится от воспоминаний. Я покупаю кефир и протягиваю за ним руку через прилавок, вот мы идем вечерним переулком всей

толпой, вот мы сидим с Панкером у подъезда, допивая бесконечную бутылку пива, вот я сам иду зимой, стараясь как можно скорее преодолеть закоулок, где особенно холодный и острый ветер.

Не отвечая на вопрос продавщицы, я вышел на улицу. Все в этом квартале для меня было особым, я не видел настоящего, а только – прошлое. Если пройти дальше, то слева будет тюрьма, огороженный двор которой хорошо видно с нашего балкона. Однажды ночью я проснулся от запаха дыма, высунувшись, увидел пожар – выли сирены, небо было в дыму, весь квартал был разбужен дикими криками заключенных. Тюрьма горела, зеки орали, но охрана боялась их выпустить. Около двадцати человек задохнулось в камерах.

Если пройти дальше справа, то там будет в одном из двориков место, где нас с Панкером однажды вечером повалили на землю и попинали. Придя ко мне, рассмотрев в зеркале синяки, мы обозлились. Схватив ПМ, выбежали обратно, разыскивали их и, к счастью, не нашли, иначе мне пришлось бы сесть в тюрьму значительно раньше. Если идти прямо, то дальше будет фабрика, где меня во время утренней пробежки, окружив стаей, покусали собаки. Район вокруг фабрики – сплошной кусок «экзотики» из пустырей, дачных товариществ и кладбища, окольцованный трамвайной линией с сочными названиями остановок («Косогорная», «Салганская», «переулок Лудильный»). Это удобное место для всякого рода одичавших тварей - бомжей и собак.

5:35 Двадцатого июля с восьми утра началась блокада дороги. Завалив ее рельсами, бочками, заполненными песком, остатками ржавых тракторов со свалки, обмотав все это транспарантами, мы начали блокаду станции. Если бы мы были одни, ФСБ и охрана нас бы просто оттащили с дороги и избили как экстремистов, но женщины и дети, простые граждане не имеющие никакого отношения к политике, присутствие прессы, - заставило их вести переговоры.

Первый, с кем пришлось столкнуться – участковый из Окского. Потев крупными каплями, поправляя постоянно съезжающую фуражку, он скоро закончил уговоры, чувствуя абсурдность ситуации – необходимость убеждать людей в том, с чем он сам же и не согласен. Потом приехал начальник охраны со станции, потом «люди в штатском», но на все уговоры и угрозы мы отвечали одно и то же: прекратите строительство четвертого блока. Грубый багровый загар, после пяти дней пикетирования на июльской жаре, не сходил с нас до осени, напоминая друг другу о страхе перед каждым новым приездом работников милиции. Они еле-еле вываливались из «уазика», предъявляли разнообразные требования, желая хоть мелко, но напакостить нам. Бесконечные разглядывания паспортов, дурацкие вопросы, выворачивания карманов – типичный набор милицейских штучек, позволяющих доставать, оказывать давление. Все это словно специально было создано для нудных ментов, чтобы творить мелкие пакости.

На шестой день, передразнивая нас, над нами демонстративно стал летать вертолет со стройматериалами. Мы поняли, что охранять ворота без забора бессмысленно – власть продемонстрировала, что намерена завершить строительство, не ограничивая себя в расходах и методах. В эту же ночь было совершено нападение на лагерь. Несколько грузовиков с включенными фарами окружили его, а люди в масках, запинаясь о колышки, стали сносить палатки со спящими людьми. Дежурный, оставленный на ночь, слишком поздно заметил приближение машин, не успел всех разбудить, но все же Черкасов и Панкер, схватив тлеющие дубины из костра, как два огненных змея, размахивали ими, не разбирая, в темноте. На следующий день мы отправились в

Окское и завалили районный суд исками с требованиями возмещения материального и морального ущерба. В деревянное одноэтажное здание ни разу не приносили пятьдесят заявлений за один день - судья метался и не знал, что делать.

Через полтора месяца маленький поселок Окское окончательно стоял на ушах. Его посетили корреспонденты международных инфоагенств, нам выделили помещение для штаба, жители сетками носили в него овощи со своих огородов, так что мы почти не покупали еды. Нас знали в лицо все окчане, и при встрече вежливо здоровались.

В конце июля началось судебное разбирательство, которое к началу осени застопорилось. К этому времени окчане уже начали копать картошку и, возможно, все дело превратилось бы в многолетнюю судебную тяжбу (чего так хотела власть), интересную десятку человек, однако, один из охранников станции случайно застрелил подростка, который вместе с приятелями подошел слишком близко. Отношения между охраной станции и жителями Окского и без того были враждебные, а после того, как несколько жителей поселка собрали митинг у станции и пол-часа скандировали «Гады! Убийцы!», половина охранников уволилась и уехала в город. Бросив тыквы и сливу в огородах, около трехсот окчан вместе с нами выехали на автобусах, выделенных Самсоновым, к администрации губернатора, где и состоялся несанкционированный и самый радикальный митинг за весь период кампании.

За пол-часа до открытия администрации, наш лучший оратор - Юрий Леонидович, через мегафон построил людей. На просьбу милиционера разойтись, сказал, что «мы не для того вставали в пять утра, чтобы разбежаться при первом же крике». Пока мы разворачивали транспаранты, пробовали кричать первые лозунги, Панкер с тремя альпинистами залезли на крышу администрации и, помахав нам рукой, стали вывешивать десятиметровый транспарант. Такой наглости по отношению к административным зданиям, наш город не видел со времен октябрьской революции (если не считать вторую мировую войну, когда на них кидали бомбы). Желаяющие выступить выстраивались в очередь, чиновники сдержанно, невольно прочитывая все лозунги, пробирались по одному к дверям, милиционеры, плохо обученные как вести себя с митингующими, засуетились, выдвигая одно требование абсурднее другого. За час мы дали множество интервью, выслушали два десятка выступлений и подошли к тому моменту, когда митинг должен либо разойтись, либо перейти в иное качество. По плану мы стали скандировать - требовать выхода губернатора. Любой публичный политик на его месте бы вышел, чтобы хотя бы на словах согласиться со справедливостью требований, но Беляков был кем угодно – подковерным интриганом, опытным шахматистом административных игр, но никак не из тех, чтобы признать, что народ прав, а власть нет.

Когда губернатор сидел у себя в кабинете и давал интервью, то, казалось, это старый учитель вновь перед классом устало разъясняет смысл жизни: упорный преподавательский взгляд исподлобья, карандаш в руке, которым он водил по воздуху, хрипловатая ровная речь без шуток, больше подходили для лектора, чем для политика. Разъясняя общественности какую-нибудь очередную позицию областной власти, губернатор серо и нехотя говорил таким тоном, будто все, чего касаются вопросы журналистов настолько неинтересно, что людям лучше интересоваться какими-нибудь другими вещами (Новым годом, днем Святого Валентина, подготовкой в Восьмому марта), а все эти неувлекательные скучные занятия оставить таким же как он - скучным труженикам бумажной рутины. Почти сорокалетний опыт работы в государственном аппарате (сначала советском, потом – российском) превратил его в профессионального лицедея. В области, которую населяло несколько миллионов

человек, лишь двое-трое могли догадываться о его истинных намерениях и извилистых путях, позволяющих ему большую часть жизни оставаться влиятельным аппаратчиком, ловко прикрывать взвешенными логичными комментариями свои подозрительные действия. В период перестройки он не стал бороться с демократами и вовремя ушел; благодаря поддержке коммунистов стал губернатором, тут же перестал называть себя коммунистом, и все это чинно, мирно, с неторопливой ловкостью уверенного в успехе обманщика.

Несколько человек из нашей группы вытащили на крыльцо администрации чучело губернатора и, подражая его голосу, произнесли ехидную «речь смеха». Объяснив, что губернатор не всегда соотносит свои слова с действиями, актер из театра сообщил от его имени, что «я – это не совсем я. Я, конечно, - я но бывает это я, а бывает – не я: все зависит от обстоятельств». Несколько человек в пиджаках, стоявшие рядом, не выдержали такого злостного акта чинонепочитания. Они попытались вырвать «губернатора», но налетевшие окчане их оттащили, потом началось скандирование, а потом, усевшись на землю, вся манифестация заявила, что будет сидеть здесь, пока стройку не закроют. Получив команду «Очистить крыльцо», милиционеры подогнали несколько автобусов и, перетаскивая за руки за ноги, окчан, как трупы, переписывая и не выпуская на улицу, единой колонной в сопровождении машин с мигалками, перевезли всех в Окское. Понадобилось больше часа чтобы перенести триста человек, но они это делали терпеливо и размеренно, как машины, не смотря на то, что ни один человек, к нашему приятному удивлению, не поднялся и не пошел добровольно. Приехав в поселок, взбесив двух ментов, мы отказались выходить из автобусов. На этот раз ничего не могли поделать – шесть сотрудников РОВД, которые были с нами, оборвали бы себе руки, вынося нас обратно. Мы предложили перевести нас опять к город, но их начальник Грибов, сказав: «Сидите хоть до Нового года!», уехал.

Сидеть и отгонять мух, попивая лимонад, было глупо. Мы провели собрание, на котором большая часть заявила, что «на сегодня хватит», а меньшая, поддержав мою и Черкасова идеи, решили вернуться в город и продолжить акцию. Нарисовав на кусках обоев более радикальные лозунги, мы подъехали к администрации уже к концу рабочего дня. Смотреть на тот же асфальт и мраморное крыльцо, с которых нас растаскали утром, было страшно: основную массу на этот раз составляли уже не простые граждане, по большому счету лояльно настроенные к администрации, лишь возмущенные незаконным строительством, а пятьдесят членов нашей организации и около тридцати пожилых женщин из Окского – самых эмоциональных, не боящихся ни мужей, ни начальников, ни милиции.

Ее тон к вечеру заметно сменился. Увидев молодые «экстремистские» лица, милиция почти не вступала в переговоры: подъехало две машины ОМОНа, который, окружив щитами, стал вытеснять нас с площади перед администрацией. На первый взгляд сотрудники РОВД кажутся ангелочками по сравнению с ОМОНовцами, которых тренируют вести себя более агрессивно и развязно (нецензурный ор, размахивание дубинами и в целом поведение севшей на кактус гориллы – отличительные особенности), в действительности, они звенья одной и той же системы, и когда ОМОНовцы приступают, то менты злорадно ходят вокруг с видом «мы же вам говорили». Окружив, нас стали сильно сдавливать, а женщины, которые ни разу не видели такого поведения от молодых парней в военной форме по отношению к себе, в ответ корили и обзывали их «подонками», раздражая их еще больше, поскольку ОМОНовцы не собирались вникать – зачем мы здесь и чего хотим. Для них мы были просто бездельниками, у которых много свободного времени, были материалом, на

котором в очередной раз нужно отработать мероприятия.

Для поддержания духа и выражения возмущения мы стали скандировать слово «подонки». В ответ по краям островка на головы посыпались удары дубинок. С этого момента я уже перестал замечать репортеров, чиновников, выглядывающих из окон, думая только об Оле, держа ее где-то внизу за руку. От двух попавших по лицу ударов, она стала плакать. Переглянувшись с ребятами, начав немного ворочаться в толпе уже до этого в порыве злобы, мы надавили на щиты и прорвали кольцо. Вытягивая ее за руку, я упал, по мне кто-то прошелся, поднявшись, пихнул ногой несколько щитов вокруг себя, а потом получил дубинкой в затылок и упал снова. Пятерым удалось убежать, остальных ОМОН смог опять окружить, сдавить, и, выпуская по одному, развести по отделам. Досталось всем без разбора – и женщинам, и пятнадцатилетним подросткам и нам.

Не смотря на полученные синяки, угрозы засадить нас на много лет, крайне навязчивые допросы работников ФСБ, глупая власть все равно осталась в проигрыше. Стройку в конце концов закрыли, виновность по статье «организация массовых беспорядков» доказать не удалось, а каждое заседание суда только прибавляло нам популярности. Мы – небольшая группка активистов понимали, что не представляем серьезной опасности для машины, но если мы сможем внедриться в тело социума, впитать интересы беднейших и отчаянных слоев, то когда-нибудь здесь опять будет мощное движение на революцию. Финансовые потоки можно прикрыть, имидж облить грязью, бренд осмеять и лишит стоимости, но очень трудно лишит основы движение, которое имеет корни в социальных группах, из которых система штампует слесарей, водителей, учителей, кондукторов, солдат – всех тех, кто выполняет в обществе основную черновую работу. Называйте их как угодно – «пролетариями», «рабочим классом», «плебсом», «электоратом» - если найдется сила, способная не манипулировать их голосами, а срастись с ними, сделать их интересы своими, то будет еще один шанс опрокинуть систему с учетом старых ошибок. После кампании по строительству атомного реактора все, кто в ней участвовал, стали взрослее и мудрее. Мы как на детей смотрели на молодых анархистов, или разных мастей коммунистов с плакатами, мы чувствовали, что на пять секунд одним глазком взглянули в революцию, мы стали другими. Честно сказать, после этого я уже не знал кто я – анархист или коммунист, я чувствовал, что я левый, а какого сорта – будущее покажет.

5:36 Юрия Алексеевича мы нашли случайно. Выйдя на одну из майских демонстраций, познакомились с упитанным, лысеньким, говорливым мужичком, которого единогласно приняли за «фэсбэшника». При ближайшем рассмотрении он оказался слишком уж умным «фэсбэшником» - не задал ни одного подозрительного вопроса, слишком уж хорошо ориентировался в левой теории. «Я фрукт, который вызрел, когда все остальные уже попадали на землю», - говорил он сам о себе. Оставшись сиротой после второй мировой войны, детство прожил в детдоме, поступил в военное училище, женившись, служил то в военном флоте, то в гражданском, к пенсии стал замначальника таможни к Крыму, а когда в начале 1990-ых ему предложили примерно такой же пост в центральной России, он уехал, оставив там жену и двоих детей, которые никуда переселяться не захотели - уже много лет отношения с женой были на грани развода, а дети выросли. Приехав к нам в город как князь Мышкин – с небольшим чемоданом и плащом наперевес, не имея даже чайной ложки, он снял квартиру и стал сидеть в ней по вечерам один. «Я всю жизнь работал, - рассказывал он нам, - у меня, чего хитрить, была хорошая квартира в Крыму, и чего

там только нет – и все телевизоры, и гарнитур, и дача, и все – что я заработал. Но я бросил все и уехал и не жалею. Все это не то – неужели я прожил, чтобы в каждой комнате стояло по телевизору?»

Разными политическими теориями Юрий Алексеевич начал интересоваться рано. Еще в военном училище подозрительно внимательно выслушивал политинформацию и много задавал нестандартных вопросов, потом стал читать книги, во время перестройки состоял в Демократическом Союзе, но после 1993 года, почувствовав себя обманутым, зарекся вступать в какие-либо партии, хотя интереса к политике не утратил, скорее – наоборот. Он был самоучка, который через какие-то дебри тянулся к чему-нибудь развивающему мозг, заставляющему мыслить не как все, чтобы не утопать в быту. Однажды в четырех стенах своей квартиры пришел к выводу «что надо действовать» и что «анархизм – лучшая из теорий». Все, чем мы занимались, было для него не политикой, а скорее воплощением философской идеи о свободе личности.

Как бывший советский офицер он с ехидством употреблял в повседневной речи созданные советской пропагандой формулировки и обороты: «мероприятие», «агитация и пропаганда», «верный идеалам коммунизма», «и другие официальные лица», «ум, честь и совесть нашей эпохи», в том время как мы между собой не заметно для самих себя говорили: «олдовый», «перец», «развести на базар», «взять на додика», и это первое время его коробило. Он напоминал шестидесятилетнего холостяка, взявшего в жены двадцатилетнюю девушку, который, наплевав на все стереотипы, решил, наконец, жениться по любви. Опасаясь не ляпнуть глупость, он тихо сидел на собраниях, стараясь получать в первые несколько месяцев знакомства то, что ему было больше всего необходимо – новые мысли, подтверждающие его собственные.

5:37 Пока я стоял во дворе, погружаясь в воспоминания, издавая писк на все летнее утро, открылась железная дверь подъезда. Во двор выбежали гладкая плоская коричневая собака с торчащим вверх хвостом. Хозяин в спортивном трико, держал ее поводком. Его недовольное лицо оценило меня, а потом он стал следить за спущенной с привязи собакой, которая старалась выжать из положенных 15 минут максимально больше, потому что скоро все уйдут на работу и опять до вечера сидеть в раскаемой солнцем квартире. Не упуская с виду животное, мужчина подошел к краю тротуара, оказавшись у небольшой стоянки и попинал несколько раз колесо своей машины, уверенно обошел вокруг, заглядывая вовнутрь. Вернувшись на прежнее место, поместил в губы сигарету, которую начал доставать еще на ходу в течение своего миниосмотра.

Воняющая на два километра машина подъехала к закиданным до упора обрывками и объедками мусорным бакам, стоявшим рядом с подъездом. Рабочий в оранжевой жилетке, с помощью рычагов задирая баки к самому небу так, что мусор обильно разлетался по всем сторонам, с грохотом вывалил содержимое. Вернув баки на землю, он подобрал остатки совковой лопатой. Опасаясь хозяина, собака побоялась поучаствовать в сцене, которую утром можно наблюдать во дворе любого многоэтажного дома.

Когда я жил здесь, то, выходя из подъезда, всегда встречал около мусорных баков, куда опрокидывал ведра весь наш дом, трех бездомных, совершающих обход своих владений. Двое мужчин и женщина, вплотную прижимаясь к воняющим краям, копались в них руками, разнюхивая, разбирая слипшиеся слои. Съедобное они тут же ели, картон и бутылки сортировали по разным пакетам. Женщина появлялась ярко

накрашенная фиолетовым и буро-красным, а мужчины – с гнилистыми лицами, и они еле-еле передвигались как тени от одной помойки к другой. Кажется, их нашли в помойке с самого начала, как некоторых находят в капусте. В действительности, как и прочие, они ходили в детсад, потом в школу, а потом их выдавило на обочину, и никто с настойчивостью уже не убеждал их, что «нам нужна сильная Россия», что новый федеральный закон еще лучше «укрепит позиции демократии», что нужно работать «во благо страны», что правительство и президент делают «все от них зависящее». Все, чем полезен для государства человек (избрание парламента, уплата налога с каждой пары трусов, купленных в магазине) они не совершают и потому существуют в колодцах, чердаках и подвалах.

Пропустив вперед мусорную машину, я оказался у железного как бункер гаража, втиснутого между стен многоэтажных домов. Было удивительно, что он до сих пор стоял. Еще десять лет назад его хотели убрать, но хозяин-пенсионер, надев ордена, приходил к чиновникам, махал в воздухе ветеранской книжкой, кричал, что они тут сидят «хуже, чем фашисты», которых он бил под Сталинградом, и гараж, в котором стоял антикварный экземпляр "Москвича", за которым бегали как за младенцем и подтирали каждую каплю, все оставался не тронутым. Я познакомился с ним и предложил помощь - старик оказался домашним философом и как-то дал почитать «Письмо Солженицыну». Это было произведение на сто сорока листах, в которое он на досуге вписывал разные мысли по поводу политических изменений в стране за последние десятилетия, начатое как ответ на «Красное колесо», но не законченное, ввиду обилия самых разнообразных наблюдений, замечаемых автором.

Меняя работу, друг, квартиры, я никогда не изменялся в своей убежденности совершать действия против ненавидимого социального порядка, и хотя вечерние новости, с которых начинался ужин перед телевизором, убаюкивали – в целом все нормально, вид пожилых, копающихся в отбросах людей, не мог меня убедить, что это всего лишь неизбежное следствие цивилизации. Молчание в ответ на грубость начальника, вызванное страхом вылететь на улицу, размусоливание соплей и спермы между бывшими мужем и женой в вечернем телешоу, слова министра о том, что ОН НЕ ЗНАЛ, что заповедник умрет, когда через него проложат нефтепровод, подписывая многомиллиардный контракт, убеждали меня в необходимости революции сильнее, чем мегабайты пламенных речей.

Застроенный на семь километров вперед высокими многоквартирными домами квартал – это подъезды, кодовые замки на них, мусорные баки, автостоянки, граффити – это моя жизнь. Мое поле – асфальт, мой лес – многоэтажки, мои пейзажи – стены, переулки, переходы, бетон, плоские грубые поверхности. Мои мечты – синий экран, клавиатура, писк модема, паутина Интернета, я – потомок крестьян Поволжья, мои потомки - на десять, двадцать поколений вперед, жители бетонных переулков. Но, не смотря на все это, я не хочу, не буду и не позволю, чтобы всем эти управляли бездушные развращенные люди, или я сдохну, раздавленный на мостовой, водометной машиной, разгоняющей демонстрацию, или мы не позволим им загнать мир в стандартизированные одноликие стих-коды.

Глава 4

7:59 Больше чем шоу или детективы Лавлинский любил смотреть передачи о жизни знаменитых политиков, писателей, актеров, художников, чьи имена, отделившись от них самих, давно живут своей собственной жизнью. При их произнесении не нужно объяснять кто они - ни школьнику, ни пенсионеру. В кадре мелькают критики, поясняющие особые достоинства знаменитого человека, его близкие с удовольствием рассказывают о его достоинствах и таких приятных и забавных недостатках (которые все равно выставляют как своеобразные достоинства). Коллеги по ремеслу вспоминают как приятно было вместе работать, ведущий подводит итог: только такие цельные личности проживают жизнь на одном дыхании, неизбежно достигая намеченной цели. Лавлинский чувствовал себя голодным человеком, которого приковали к столбу, расставив на столах вокруг всевозможные блюда. "Почему они дотянулись до этих блюд, а я и миллионы других умирают никому не известными? Если все люди равны, то почему их превозносят? После каждой такой передачи он чувствовал себя сильно взволнованным: ходил по комнате, рассуждая сам с собой, чувствовал, что чужая слава стимулирует его к чему-то - только непонятно к чему. «Самое простое, - в начале думал он, - это стать писателем, нужно всего лишь взять бумагу, ручку и заставить себя сесть за стол». Но это оказалось невыполнимым - мало уметь складывать слова, оказывается, в произведении должен быть сюжет, проблема, эстетика, авторский замысел. Несколько вечеров пробыв перед чистой тетрадью, чувствуя себя человеком, страдающим тяжелым запором, он решил, что писатели - это те, у кого поносы, кому вечно не хватает бумаги.

После каждой такой передачи, воспринимая ее как объективный рассказ, он пытался понять - какие качества и способы действия необходимы, чтобы стать великим человеком и с трудом мог уловить это. "Великие люди" казались недостижимыми, недостижимыми и вообще не людьми: не понятно как они могли состоять из такой же плоти и крови как и остальные. Их деяния представлялись идеальными, совершенными по подсказкам бога или ангелов, от которых они могли получать советы за особые духовные качества, в то время как остальная пресмыкающаяся чернь, всю жизнь барахтающаяся в собственных зловониях, до конца дней проживает в полной тьме. «Они просто попадали в нужное время в нужное место, - рассуждал Лавлинский, - и какое-то особое качество позволяло им подниматься над всеми остальными. Вот Сталин - сын обычного бедного грузина догадался, что будет революция, вступил куда надо и стал диктатором. Как бы мне тоже угадать?"

Страх, похожий на ядовитый парализующий газ, охватывал Лавлинского, когда он начинал думать, что все "великие люди" уже с детства избирали свой путь, по которому шли напролом и наперекор смеющемуся окружению, а ему уже скоро тридцать, но он так и не определился, кем будет, и умрет безвестным. Растущая до безмерных размеров зависть распирала его после каждой такой передачи вне зависимости от того, встречался ли в телевизоре актер, которого и не вспомнят после смерти, или упоминалась личность планетного масштаба, которая уже известна несколько веков и будет, вероятно, известна до тех пор, пока существует человечество. Особенно издевалась над ним дикая вечная знаменитость, которую невозможно поколебать ни одному политическому режиму, некоторых древних греков - например, Платона и Аристотеля. Иногда при мысли о них он ощущал себя затравленной собакой, потому что эти двое умерли так давно, что, казалось бы, ничего кроме

уважения к ним испытывать не следует, но, с другой стороны, они столь общеизвестны, что попытаться забыть о них - все равно, что отменить письменность.

Став "великим человеком" Лавлинский не сделал бы никому ничего делать плохого. Он просто бы был всем известным своими заслугами перед обществом, а ,значит, цель жизни была бы достигнута - он бы давал интервью, выступал бы в телепередачах, высказывая то или иное мнение по нравственным вопросам, или по вопросам внешней или внутренней политики, и этого самого простого внимания, выслушивания его мнения было бы достаточно, и тогда он был бы счастлив. Наблюдая ответы политиков или актеров на экране, он считал, что мог бы говорить не хуже их.

"У него есть талант, а у тебя его нет", - сказал когда-то в седьмом классе учитель рисования. Лавлинский вместо своего рисунка подсунул рисунок одноклассника, который рисовал лучше всех. Учитель поставил ему тройку, потому что уже в двенадцать лет рисунки его ровесника нельзя было перепутать ни с какими другими.

- А почему у него есть, а у меня нет? Значит, я хуже ?- спросил Лавлинский, но тут даже бабушка, всегда бывшая на его стороне, ответила:

- Талант - от Бога.

- А почему мне Бог не дал таланта ?

Известность и чрезмерное внимание к некоторым людям (например, актерам) со стороны газет с большими, убивающими наповал заголовками, казались Лавлинскому незаслуженными. "Мало того, что в фильмах снялись, так о них еще и в газетах пишут и они делаются еще более знаменитыми!" "Алла Пугачева не любит мех", "Сергей Безруков опять женится", "Филипп Киркоров надел жилетку" - настоящая пробивная форма этих высказываний изматывала иногда Лавлинского, как тяжелые удары, которые были особенно невыносимы, потому что круг источников, из которых он черпал информацию о мире был узок и замкнут - "желтые" газеты, развлекательные теле-шоу, дешевые детективы с яркими обложками. Единственным исключением был его интерес к Древнему Египту. О нем он искал информацию в Интернет и иногда брал в библиотеке старые книги, с потертыми названиями, которые прочитывал как библию, преклоняясь перед трудным, но ясным наукообразным языком.

Древний Египет - был единственной сферой, где он чувствовал себя свободно, испытывал только удовольствие при мысли о ней. Даже открыватель древнеегипетской письменности Жан Франсуа Шампольон не вызывал у него зависти, а только восхищение. В отношении всего, что касалось этой цивилизации никогда ничего не вызвало у него негативных переживаний.

Первое, что попало ему еще в детстве - познавательная книжка "Семь чуд света", которую Лавлинский прочел за два вечера. Несколько лет спустя, он "питался" двумя-тремя сайтами, где узнал какие научные книги можно прочесть по египтологии. Выписав их на бумажку, он пошел в библиотеку, а когда, наконец, усевшись в читальном зале под насмешливым взглядом каких-то студенток, положил перед собой "Культура Древнего Египта. Мировоззрение и быт", то открывал первую страницу, как чемодан с пачками денег. Чем глубже он изучал Египет, тем сильнее начинал ощущать превосходство над всеми остальными. Благодаря этому, он понимал, какие же мелкие букашки на самом деле все эти актеришки, писатилешки, лидеры партий и журналистишки, которые о них пишут. "Я - фараон. Я - царь мира", - иногда говорил он себе, понимая, что уже начал движение на пути к своей цели, что это действительно так, и на самом деле он есть мощь, сила, божественная власть, олицетворенная в собственном лице, и тогда, включая телевизор, чувствуя присутствие всех этих цветных теней знаменитостей у себя дома, он не испытывал

ничего, кроме снисхождения. Только особо выразительные физиономии некоторых министров и самого президента, заставляли его ощущать нечто родственное, и уже не задевали его семейные теле-шоу, викторины, красивые женщины, рекламирующие шампуни, эрудиты, выигрывающие миллион с помощью правильных ответов. Была бы сейчас жива бабушка (всегда вкусно готовящая специально для него, всегда сидящая в кресле у торшера, вяжущая носки, всегда рассказывающая что-нибудь интересное), она бы поняла, что он становится сильным. Теперь он бы сам вступался за себя; не давал бы кричать на себя матери и отцу, теперь она бы вкрадчивым голосом не увещевала - "У вас больной ребенок, будьте спокойнее". Он бы сам, не задумываясь, ударил кого-нибудь из них палкой или рукой. Она похвалила, когда увидела, как он сам начал читать "Семь чудес света", похвалила, когда он внимательно рассматривал угрюмую тяжелую фотографию спутника Марса, Фобос в учебнике "Астрономия", похвалила, как он внимательно изучал рисунки динозавров в книге "Занимательная палеонтология".

- А почему на Фобосе такая вмятина? - спросил он.

- Это он башкой ударился, и у него тротуар отпечатался в извилинах, - объяснил отец голосом, как будто просил в пивной отвалить в сторону настырного собутыльника.

- Ну что ты, Антон, - как всегда успокаивала теща. - Разве можно так с сыном. Много миллионов лет назад там произошла катастрофа. Большая комета ударилась в этот спутник и повредила его, - объясняла она, но Лавлинский уже не слушал, потому что на глаза наворачивались слезы, и он бежал запирается в туалете. "Я тебе припомню. Все тебе припомню, гад, когда вырасту", - твердил он, но не успел этого сделать. Однажды субботним вечером отца сбила машина. Возвращаясь домой пьяный, вместо того чтобы пойти по переходу, он вылез прямо на ночной проспект с шестиполосным движением, разделил участь Фобоса, и в этот вечер уже никто не услышал как грубый пьяный голос, с грохотом снимая ботинки, уронив ключи, орет в темной прихожей песню "Есаул-есаул, что ж ты бросил коня", а потом, не дойдя до кровати, валится прямо на полу и, швыряясь, никого не подпуская к себе, договаривает: "Пристрелить не поднялась рука".

Родителей Лавлинский воспринимал как непонятное недоразумение, которое приходится терпеть. Некуда деться от их замечаний и приказаний, требований посмотреть дневник, непоколебимых вопросов, на которые не хочется отвечать и шлепков, которые получаешь, когда делаешь что-то не так.

- Ни дома, ни на работе покоя нет, - говорила мать.

"Это мне от вас покоя нет", - еле сдерживался, чтобы не сказать, сын.

- Галя, успокойся. Ребенок тут не при чем, - говорила бабушка.

- И почему он такой. Второго что ль родить - получше будет...

- Я ж тебя родила. А ты тоже была так себе - болела все время.

- В интернат что ль его отдать.

- Он там не выживет.

В детдоме, где озлобленные первичные инстинкты маленьких зверюшек всегда на поверхности, где они все время вместе в одном и том же вольере при минимальном присмотре взрослых, Лавлинский стал бы самым последним, самым избиваемым, самым униженным, и в то же время, самым жестоким ребенком. Таким он и был в школе. Его оставляли в покое потому, что считали не вполне нормальным - от него можно было ожидать какого-нибудь жуткого поступка. Где-то в начале апреля в седьмом классе, когда Лавлинскийпил успокаивающие таблетки и его водили в врачу, он находился в каком-то тумане - все что вокруг воспринималось как бы издалека,

сквозь собственные мысли и образы, переполнявшие голову. Прямо на уроке он закричал громким мужским рыком, забил руками о парту, и с тех пор все одноклассники называли его только одним словом: "шизик", года два после этого пытаясь изобразить как он это сделал.

В институте, когда не была еще изобретена "игра в царя", он писал посмертные письма, представляя, что завтра, наконец, покончит с собой. Он садился и, плача от жалости к себе и великодушия к окружающим, писал несколько листов, объясняющих смысл поступка, после чего особенно хотелось еще немного пожить. "Я, Лавлинский Роман Антонович, собираюсь покончить с собой. Жить я больше не хочу (с этого момента начинались радостные слезы, оттого что удалось найти верные слова). Я не хочу больше видеть этот мир, которому я никогда не нужен. Зачем я живу - мне не понятно. Я, конечно, могу закончить институт, завести семью, но разве это смысл моей жизни? Надо мной все смеются, меня никто не воспринимает всерьез, я не умею завести девушку, а я так хочу любить кого-нибудь. Дорогая мама и бабушка, я не знаю зачем жить. Не вижу в этом смысла". Составив такое послание, он в слезах перечитывал его много раз, находя, что каждое слово в нем очень весомо и плывет в строке, как огромный мощный корабль, набитый сверху донизу ценным грузом.

Взрослея, Лавлинский стал замечать, что место насмешек и словесных оскорблений постепенно вытесняет пустота. Если в детском возрасте его место было понятно и он был замечен хотя бы как объект, которого бить не обязательно, но можно над ним смеяться, то во взрослом - сверстники становились вежливыми. Вместо "они надо мной издеваются", он начинал понимать, что "я никому не нужен", и какое из этих двух состояний страшнее это еще вопрос.

С другой стороны, именно с университетских лет Лавлинского стало привлекать все мужественное, героическое и проблема "великих людей". С этого момента он стал копить связанные с героическим впечатления, а также записывать в тетрадку цитаты из книг, песен, фильмов, относящихся ко всему мужественному и жертвенному. "И отвесив поклон, принял пулю на вздохе", "Доброе утро, последний герой", "тот, что ахеенам тысячи бедствий соделал", "людей у персов много, а мужей мало", "богатырская рука один раз бьет", "черный ворон, я не твой", "вот пуля пролетела и ага", "сегодня мы гордую песню поем, о самом большом человеке своем", - с этого момента он стал часто мечтать, что бы он сделал, если бы был Сталиным, или Гитлером, или какой-нибудь еще масштабной исторической фигурой, которая движением мизинца заставляет передвигаться тысячи людей с одного края света на другой, которая разговаривает все время скупно, которая говорит все время столь же значительными словами, какими написаны его "предсмертные письма", которая обращается к нации и в не зависимости от того, хороший ли у нее ораторский дар (и тогда она рвет и мечет и всех погружает в гипноз криками) или так себе (и тогда она говорит медленно, просто и даже немного шепелявя или с акцентом), все молчат, запоминают, и никто никогда не дерзнет поправить оговорку или задать уточняющий вопрос. "Я тоже, тоже великий! Я буду парить над миром!" - вновь и вновь твердил он себе.

Когда Лавлинскому исполнилось 27, его все больше стал мучить вопрос - будут ли его помнить через двести лет? А через пятьсот? Через тысячу лет? Через десять тысяч лет? К этому времени он уже прочел много книг: "Майн кампф" Гитлера, "Доктрина фашизма" Муссолини, несколько работ Мао Цзэдуна, воспоминания первого президента России, "Жизнь двенадцати цезарей", "Жизнеописание" Плутарха и пять-шесть книжек из серии "Жизнь замечательных людей", которые зарядили его

однозначной решимостью. Подумав, он определился, что первым шагом на пути к власти и славе должно быть обнародование его истинной сущности перед простыми людьми. Он решил, что бессмысленно требовать от них покорности и подчинения, когда они не знают, что он фараон. Появление на публике царственной особы, при отсутствии свиты и прочих атрибутов должно хотя бы произвести впечатление самим своим обликом и атмосферой, которую он как Бог, создает вокруг себя. Потому, тело нужно растереть маслами, на лицо наложить некое подобие грима, трон хотя бы покрасить в приятный цвет, одежда должна быть чистой и от него самого должно приятно пахнуть.

Собрав воедино все эти доводы, Лавлинский приступил к приготовлениям: в специализированном парфюмерном магазине не оказалось египетских масел и ароматизированных палочек (были только китайские и псевдоиндийские). С трудом также удалось подобрать достойную ткань, а краска после нанесения на деревянный стул оказалась какого-то гаражно-кирпичного цвета.

Сделав все приготовления, он выбрал воскресный день и, задев перила широконогим стулом, выбрался в летний, освященный солнцем двор, а потом, установив трон шагах в десяти от собственного подъезда, уселся на него.

Уже минут через семь соседи заметили в этом поведении нечто необычное. Семья из трех человек, жившая на этаж выше, по настоянию девочки собралась в парк, чтобы потратить часть полученных отпускных на мороженное, пиво (для папы), сладкую вату и аттракционы. Взрослой женщине, державшей за руку дочку, стало слегка нехорошо, когда она увидела на дороге прямое надраенное чучело, похожее на восковую фигуру.

Загримированное лицо Лавлинского желто-кремового цвета похожее на поверхность гладкого полированного стола в сочетании с черно-сочными, зачесанными назад волосами, при первом взгляде создавали ощущение если не почтения, то умело сконструированной театральности – словно Лавлинский сел на сцене, освященной профессиональным осветителем. Подведенные в углах темно-коричневыми штрихами неподвижные глаза, делали его похожим на китайского императора, недлинная, с широким расписным поясом, юбка, концы которой свешивались на живот, одетая на голое тело, толщиной полтора сантиметра производила впечатление скорее мужской, нежели женской одежды. Спина и все тело, очищенные от растительности на груди и под мышками, также было густо и глубоко промазано маслом, от которого шел пряно-сладкий, необычный жгучий запах и тоже были желтого цвета. С подбородка свешивалось нечто вроде толстой пятнадцатисантиметровой кисточки из черного бараньего меха, еле заметной лентой завязанной на подбритом затылке, а на руках были надеты амулеты с иероглифами.

Женщина сразу почувствовала что-то нехорошее в том, что мужчина так себя разукрасив, вышел на улицу, но девочка, не испугавшаяся ничего, радуясь собственной сообразительности, выкрикнула, дернув папу за руку:

- Фараон!

При первом же взгляде становилось ясно, что это именно египетский правитель - настолько старательно и подчеркнута Лавлинский приготовился к своему выходу. Однако после небольшого осмотра становилось жутко: если бы он был на каком-нибудь многолюдном тротуаре или площади, это еще можно было бы понять как рекламную акцию, но такая фигура в полупустом дворе в воскресное утро пугала. В этой неподвижности и особой желтой подчеркнутости было что-то недалеко стоящее от припадков, смиренных рубашек, неосмысленного улыбания, говорения самого с

собой и сильнодействующих средств. Мужчина побоялся подойти поближе – слишком опасной была эта неподвижность. Успокоив от восторгов девочку, восклицания которой очень обрадовали Лавлинского, прошел вместе с женой и дочерью дальше. Вынув сотовый, он позвонил на ходу матери Лавлинского:

- С вашим сыном что-то необычное.

Всю жизнь боявшаяся таких звонков, женщина тут же представила, что Рома, схватив топор, зарубил первого попавшегося человека.

- Он сидит у подъезда и никого не замечает.

С высоты своего положения Лавлинский не понял претензий и не сразу узнал мать. Дряблая кожа, свисающая с рук, короткий пух волос на голове с проглядывающейся залысиной, летнее платье без рукавов и как всегда обидный хрустящий голос – не сразу вернули его. С выражением, каким она говорила, обычно кондуктор в троллейбусе выгоняет иностранцев, не понимающих, что нужно платить за проезд, безуспешно объясняя, что опережая других, места в салоне они заняли не по праву – пытаюсь внушить сыну, что необходимо освободить место:

- Ну чего ты тут расселся? – сказала она. – Ну-ко быстро вставай отсюда, идиот.

У старухи был такой же как и у него нос в форме сливы, похожий на клюв Бабы-Яги, которая заглядывает у черной печки в свои котелки, чтобы доесть остатки пойманного и запеченного в яблоках мальчика. Он удивился (насколько это позволяло ему его непревзойденное положение), с какой смелостью эта полускрюченная женщина находится рядом и позволяет даже себе произносить какие-то фразы. Взяв это на заметку, он стал следить за ее малоупорядоченными и беспокойными движениями, осознавая, что говорит она не по-египетски, а на каком-то дурном языке с большим количеством гласных. После того, как Лавлинский изобрел свой собственный язык - рабара, который назвал египетским, все остальные языки он стал считать неполноценными, удивляясь их несовершенству, громоздкости, грубости звучания. В компьютере завел отдельную папку с алфавитом и набором всех известных египетских иероглифов с расшифровкой произношения. Шутки ради, поскольку общаться на таком языке было пока не с кем, он как-то совершил наугад несколько звонков, произнося одну и ту же фразу: «Могу я услышать Бога Ра?», которую никто не понимал. Недоуменные русские люди кое-как отвечали по-английски, бросая трубку, и только один раз он позволил себе заговорить с акцентом, спросив выдуманное им лицо, которого на месте не оказалось.

- Бери свой стул и пошли! – кричала женщина, ходя вокруг него кругами и Лавлинский стал догадываться, что она хочет занять его место. Слегка усмехнувшись, он молвил:

- Марикора, варикора навара, - ты слишком стара женщина, чтобы быть фараоном.

- Ты так и будешь здесь сидеть? Ты меня что перед людьми позоришь? Ты хочешь, чтобы я милицию вызвала?

- Саторивакак рикабори да бори. Нимб ра ривалка му сака, - среди людей может быть только один бог – это я.

- Лучше б ты наркоманом был или алкоголиком. У нас ведь в семье никогда дурачков не было – один ты. Уж и работать тебя устроили, и квартира у тебя есть, и лечили тебя – опять за свое? Ладно хоть на людей не кидается, прости Господи. Ты ж ведь не больной – у тебя придуры, просто придуры!

Немного подавшись назад, старая женщина, ударила сына в спину и вытолкнула стул. Лавлинский вынужден был встать, чтобы не упасть на землю. Оказавшись с матерью лицом к лицу, он понял, что на сегодня пора прекращать играть и, сделав

несколько шагов с рядом лежащим на боку тронем, позволил себе вернуться к русскому:

- Чего ты мне мешаешь? – спросил он.

- А чего ты как дурак расселся тут? Я давно ведь в тебе новую придурь эту заметила: вижу, мантии какие-то, юбки, палки – ненормальный.

- Я взрослый человек – я развлекаюсь как хочу, и ты не имеешь права мне мешать.

- Нет имею, потому что ты - дурак.

- Я тебе сказал, что никогда к себе домой не пущу – так я и не пущу. Поэтому, иди отсюда.

- Ты меня непустишь? Свою мать непустишь?

- Нет.

- А я сама зайду.

За две-три секунды, почти выйдя из роли фараона, перебрав в голове возможные ответы, Лавлинский молча, под взглядом проходящих около подъезда жильцов, заметивших что-то странное в желтом полуголом мужчине и старухе, стоящих в позах, в которых пребывают люди, ведущие громкий неприятный разговор, поднял стул, сдернул с него ткань, собрав комком, и направился домой. Сделав несколько попыток не пустить мать, он смирился с тем, что она проскользнула в квартиру, и пошел в ванную мыться. Не смотря на ее присутствие и глупые слова, он пребывал в неплохом настроении: «Первый шаг на пути к славе сделан, хотя и не столь эффективный как хотелось бы. В следующий раз действительно нужно будет сесть где-нибудь на центральной улице».

- Эх, Рома-Рома, - говорила тем временем мать, расхаживая по комнате, а когда он появился из ванной подытожила: - жениться тебе надо. Хочешь я тебе жену найду? Вон у Шавритовых Таня – девочка какая хорошая. Не пьет, не курит, сидит дома, как ты.

- Я сам себе найду.

- Ты – найдешь? Не смей меня. Умные-то вон люди – находят, да неудачно, а – ты? Да ты так до сорока лет будешь, а потом – кому ты нужен.

- Кому надо.

- Да никому! Ты ж двух слов связать не можешь!

- Ты пришла чтобы меня обижать?

- Ты чего ж думаешь, мне до тебя дела нет?

- Не знаю. Но ты не знаешь, кто я на самом деле.

Замолкнув от столь уверенно произнесенной фразы, мать не сразу переспросила «Кто?». Лавлинского думал: «Сказать или нет?». Место на его лице заняла озабоченность, какая бывает у настоятеля монастыря, когда ему сообщают, что запасов пищи хватит недели на две, и что братия в несмирении, а некоторые по ночам отлучаются в публичный дом. И без того вытянутое, с неровной кожей лицо стало как у ящерицы, устремившись куда-то в одну точку.

- Когда ты родила меня, ты думала, что я просто обычный мальчик и ничем особенным не отличаюсь. Я не просто обычный человек – я фараон. Я – феноменальный человек. Если я фараон – то я не должен больше скрывать это, потому что я – Царь Мира, я потомок тех, кто строил пирамиды, а тысячи рабов погибали под палящим солнцем, чтобы возвести их для меня.

Переварив все это, ничему не удивляясь, мать высказала:

- Прости Господи, дурак. Твой отец всю жизнь водителем проработал, а дед на войне погиб – никаких фараонов никогда не было.

- Я считаю, что не имеет смысла тебе что-то объяснять. Это объяснение очень тяжело, а твое мышление и простой логике не поддается.

- Я не знаю, какая у меня логика, но выходить на улицу, как ты вышел – это надо быть придурком.

Рассудив, что после таких слов он, как фараон, имеет полное право казнить женщину, Лавлинский сделался суровым и, сложив на груди руки, стал прямо рассматривать ее фигуру, примеряясь с какого места начать осуществление заслуженного наказания.

13:30 За пять минут до обеда, Агудова успела выдать еще одну фразу, уколотившую его:

- Лавлинский, у тебя такая рожа, как будто от тебя каждый день – жена ушла.

- Я не женат, - буркнул он.

- В том то и дело – тебе радоваться надо.

- Чему – радоваться?

- Тому, что она не ушла, - удивляясь получившейся оригинальной шутке со смехом выкрикнула она.

У входа в столовую столпились сотрудники – около сорока человек. Коридор был заполнен почти полностью. Под запах чего-то подгоревшего они выстроились в широком проеме, образовав круг, в центре которого поставили Агудову. За полминуты до этого она задержалась в туалете и хорошенько надушилась, поправила макияж, с возбуждением рассматривая себя в зеркале, а, оказавшись на глазах у всех, сцепила руки, опустив их вдоль тела, рассматривая пол. Начальник кадров Валя Степанцова, раскрыв открытку, стала зачитывать изложенное в стихах поздравление. Агудова подняла глаза, а Лавлинский с первой же строчки уже не знал куда себя деть.

Если соотнести реальные отношения между сотрудниками с «теплыми словами», то это какая-то мерзость – считал он. Слащавые, похожие одно на другое поздравления, дежурные улыбки у всех на лицах, тишина, заставляли его испытывать сильное стеснение, чувствовать себя виноватым, ненужным, неприлично краснеющим, словно это его помещали в центре и клялись, что он лучше всех. «Если каждому человеку в день рождения объясняют, что он лучше остальных, то кто же тогда на самом деле лучше? А если это обман, то разве это хороший подарок – обманывать в день рождения? - думал он. – Конечно, никто не лучше – все они стадо, чернь, со своими недостатками. Во времена пирамид они бы строили пирамиды, а сейчас – другая жизнь. Сейчас – они служащие бесконечных офисов, хотя, конечно, тоже рабы и в переносном смысле тоже строят пирамиду».

Мы поздравляем с днем рожденья,

И отвлекаясь от забот,

Наполним сутки обновленьем –

Пускай оно скорей придет.

От этих строк в Лавлинском начало подниматься злое чувство протеста, какое бывает у любого, когда ясно и при всех, с широко раскрытыми глазами и убедительной интонацией лгут в лицо.

Что было – забывать не стоит,

Что будет – встретим невзначай.

Успех никто не остановит,

И счастье будет, не серчай!

С этих же строк Лавлинский покрылся мурашками. От бессмысленности стихов и экзальтированной интонации с какой Степанцова – звонкая, никогда ни о чем не задумывающаяся баба, - читала их, ему стало холодно. Захотелось сделать что-нибудь неприличное, чтобы сразу вспотеть от стыда – немотивированно ударить кого-нибудь

или пукнуть. Мысли о том, чтобы ударить, в минуты стеснения у него возникали часто – в такие моменты он очень ясно представлял как рука ляжет на одежду, раздастся шлепок и к нему повернется недоуменное или сердитое лицо.

Пусть будет смех и радость в доме,

Пеленки, деньги и цветы.

Счастье никто не остановит,

Ведь счастье рядом – это ты.

Громкие для небольшого пространства аплодисменты, куда он внес своих два-три слабых хлопка, чего в общем шуме никто, как всегда, не заметил, разрядили Лавлинского. Степанцова бросилась на Агудову, кто-то из мужчин вручил приготовленный букет, круг мгновенно нарушился, глагол «поздравляю» был употреблен за две-три секунды четырнадцать раз, после чего Агудова пригласила всех в столовую, где, сверх обычных блюд, было несколько бутылок вина и два торта.

В свой собственный день рождения Лавлинский старался быть в отпуске или заболеть. Одна только мысль о том, что он окажется в центре этого круга, заставляла его сильно волноваться. Ведь будет неприличным промолчать, ничего не сказать в ответ на поздравления, придется что-то придумывать, изображать радость или приятное удивление, смотреть на улыбающихся людей, которые в основной своей массе Лавлинскому неприятны. Только один раз его поймали и тогда Лавлинский что-то мычал в ответ Степанцовой, а после обеда на него все косо поглядывали, потому что он не купил вина и тортов.

Когда собирают вместе людей, между которыми нет чувства единения, то им не остается ничего, кроме крепких рукопожатий, коммивояжерских тянучих улыбок и подставлений щечек для поцелуев с громким чмоканьем. Чтобы прикрыть взаимный разлад, сделать вид, будто никогда не было шептаний, вальсирований перед начальством, повизгиваний на нижестоящих, изображения кипучей деятельности, махинаций с деньгами и бесконечного, ожидания конца рабочего дня, когда, после схождения стрелок на нужном месте, всех сметает как сор. Лавлинский представлял, что если всех их вместе поместить в один космический корабль и отправить на орбиту, то через неделю-две некоторые загрызут друг друга. Обзывания за спиной и возня за симпатии директоров давно стали обычным делом в фирме, и все это сильно его угнетало, потому что, не смотря на садистские склонности, Лавлинский никогда бы не смог сказать что-то плохое про кого-нибудь кому-нибудь. Он мог представить, как приятно было бы ударить чем-нибудь тяжелым директора по развитию и как при этом изогнулась бы его тонкая глистообразная фигура. Но говорить, допустим, Голянову – относительно хорошо общавшемуся с Лавлинским - что Сазонов предложил Агудовой выпить с ней кофе и она согласилась, и как он хорошо представляет ее голой в постели с ним, ему бы никогда не пришло в голову. Знать больше, чем остальные всегда приятно, но шептать кому-то на ухо Лавлинский просто не умел.

10:11 Через некоторое время после первого «выхода в свет» Лавлинский с ужасом осознал, что раз он фараон, то необходимо уже при жизни начать строить пирамиду (и притом большую пирамиду: он фараон великий, у великого фараона должна быть великая пирамида), но нужного количества рабов для этого нет. Он даже чуть было ни полез в Интернет, чтобы посмотреть, есть ли там строительные фирмы, предлагающие услуги на постройку таких сооружений, потом опомнился, вспомнив, в каком времени живет и очень рассердился, несколько часов пребывая в бешенстве от мысли, что даже если он напишет самый грозный указ, ни один камень не сдвинется

с места. Чтобы хоть как-то успокоиться, он, конечно, «продиктовал пару строк своему писцу» (набил на компьютере текстовый документ). Чтобы не слишком быстро разочароваться, он написал его в столь туманных тонах («необходимо обдумать волю», «начать подготовку», «принести в жертву», «возблагодарить за обязанность»), что не понятно – стоило бы такой указ выполнять и не содержит ли он сам в себе собственное опровержение.

Совсем немного времени прошло, когда он осознал, что необходимо делать. Потратив несколько часов на составление листовки, на следующий день он сходил в ризографию и сделал несколько сотен прокламаций следующего содержания:

«Земляне!

Я – Царь Мира, Фараон Египетский, Иисус Христос, Сын Божий, Бодисатва и Бог всех Богов во Вселенной.

Я – Душа Истины и Сущность мира в Абсолютном Воплощении.

Я – Воплощение всего Разума Вселенной как С той так и С другой стороны.

Опомнитесь!

Вы уничтожаете Землю, Мать свою, вы загрязняете Мои воды – моря и реки, вы извлекаете нефть и уголь и потребляете, вы сделали экологические проблемы.

Если на Землю смотреть из Космоса – Карма нависла над ней, и вся она черна. Вы плодите грехи и не хотите остановиться, но Я Пришел и скажу вам нечто.

29 июля 2004 года в 14:32 состоится конец света. Единственный способ избежать этого – прийти Ко Мне, снять Карму и перейти в четвертое измерение. История всего человечества прошла три измерения, а чтобы она продолжилась дальше – нужно перейти в четвертое.

Все кто не придет Ко Мне и не перейдет в четвертое измерение – погибнут!»

Девушка в типографии, сначала принявшая Лавлинского, как обычного посетителя, пробежав набранный очень крупным шрифтом текст, проводила его долгим взглядом и еще немного пялилась на закрывшуюся дверь. Было смешно, но смех как-то не шел, было удивительно, но как-то очень дурно пахло от этих букв, чтобы просто удивиться.

Семь ночей потребовалось, чтобы обклеить город, но они Лавлинского несколько не утомили. Наоборот, его уверенность в собственной значимости, что он наконец-то приступил к осуществлению главного плана своей жизни, возвышали его, заряжая бодростью, и даже страх перед ночными улицами, хулиганами и милицейскими патрулями не останавливал его. Один раз, когда он наклеивал листовку на повороте очень оживленного днем перекрестка, из-за угла выскочил патруль, и два милиционера до конца смены хохотали над бескомпромиссными призывами его агитации, даже не проверив у египетского фараона документы.

Конечно, первые записи в гостевой книге сайта, который он наскоро сделал по шаблону, были очень грубыми, чуть ли не вызывая слезы, однако, люди, осознавшие истину вскоре нашлись. Уже через пол-года вместо него листовки клеили другие. «Тысячи, миллионы людей проживают жизнь и умирают, остаются неизвестными, и память о них стирается в следующих поколениях, а ,значит, можно сказать, что их на самом деле не было, и только единицы остаются в веках», - эта мысль стала главной силой, двигающей Лавлинского и под влиянием ее, и следующих из нее действий он стал меняться.

Стал меняться его язык и способ обозначения событий. Самые незначительные из них окрашивались в гипертрофированные мифологические тона. Умывание рук под краном именовалось как «омовение в Ниле», рассматривание себя в зеркале – «Иштар

– загляденье», «посвятить утро государственным делам» - просидеть в Интернет полдня, «общаться с чернью» - выйти на балкон за картошкой. Особое понимание происходящего, видение в порядке скрытых символов, другой язык рабара помогли Лавлинскому конструировать собственную реальность вокруг себя. Реальность, которая всем кажется непосредственной данностью на самом деле случайно сконструирована самим обществом, а ,значит, для ломки и собственного выдвигании необходимо создавать другую реальность – другое время, другое пространство, другие мысли и другие, самое главное, слова. Если давно известные вещи называть новыми словами, смешивать их с вещами ранее не известными, уводить конфликт в стадию, когда ненормальность получает статус «точки зрения, имеющей право на существование», а интеллектуалы уже разводят руками, раз в конфликте оказываются две разных конструкции, - тогда все простое вдруг становится сложным, и над всем давно ясным возникает требование «пересмотреть на истинность». «Неважно, что послужило первоначально зарождению конструкции,- размышлял сам собой Лавлинский, – неустроенность на работе, социальная неадаптированность, половая неудовлетворенность, тяжелое детство, уход любимой женщины, неспособность рассказать анекдот в дружеской компании – все это состояния, позволяющие начать путь к Самобогии». В минуты особенной ясности Лавлинский не сомневался, что он болезненный, неудачливый, некоммуникабельный человек с некрасивой внешностью, но железное несогласие с такими свойствами своей личности превращало его в ровно противоположно возносящегося Бога. «Ведь все новое возникает ниоткуда, как другая конструкция и все давит. Все эти «новые морали» Гитлера или «воли к власти» - все, конечно, верно, но все-таки насколько же они глупые люди, не смогшие удержаться и тридцати лет у власти по самой простой причине – они были атеистами. Вот христианская религия – почему она так хорошо распространилась, как самодостаточная система, хотя ее никто насильно не насаждал (а если насаждали, то почему она так глубоко привилась?) Или вот – марксизм, его же преследовали, а он проник в Россию в 19 веке и так глубоко вошел? Нужно глубже проникать в личность и говорить с ней о сексе и о смерти, о смысле – изворачивать изнутри», - приходил к выводу фараон.

Словами, подкрепляемыми действиями, даже если внешне они выглядят абсурдно, можно ломать любую реальность в любую историческую эпоху и при любом политическом режиме, - умея выбирать нужную тактику.

«Кто Я?» - «Выше меня нет никого».

«Зачем Я?» - «Я абсолют».

«Сколько Я?» - «Я – Я. Я – везде».

«От кого Я?» - «Я – от Я Абсолютного».

Перебирая такие мысли часами, как четки, с разными вариациями и каждый раз разными и бессмысленными ответами, Лавлинский подкреплял свой дух и решимость. После двух-трех часов такого перебирания он переходил в состояние безмятежного счастья: все успокаивалось, даже движения век становились верными и размеренными, слова слетали с улыбкой и умиротворенным снисхождением. Нескольким таким молитвам попроще он научил своих подданных, замечая, что долгое проговаривание некоторых слов вводит их в похожий транс. «Как легко произнести вслух слова и как легко они могут все перевернуть! Нет, я не псих, я – конструктор. Архитектор, не какого-то там «нового мира», это бред, пусть все останется как есть, я – архитектор новой реальности вообще, нового воздуха, новых законов мироздания, они же ведь тоже конструируются всего лишь отдельными

людьми». Верующий постоянно должен вспоминать о Боге (бояться, любить, восхвалять), а не Бог о нем. Для этого Лавлинский придумал несколько регулярных ритуалов, которые истинный приверженец абсолюта должен неукоснительно соблюдать. Самое удивительное было даже не в том, с какой легкостью и преданностью подданные усвоили эти ритуалы, а то, что испытывали чувство вины, когда забывали исполнить молитву. «Дай им только поверить во что угодно, заставь – будут в ногах ползать. Насколько сильно люди все-таки нуждаются в вере и силе над собой и как верно все поняли Иисус Христос, Будда и Мухаммед», - думал Лавлинский, каждый раз выслушивая искренние покаяния.

Первые ритуалы общины стали такими. Во-первых, рано утром нужно было сразу же совершить «саквари»: встав лицом к востоку, вытянув руки ладонями вверх, произнести утреннюю молитву – «Я славлю Тебя, Великий Разум, Мрак и Свет Вселенной, Вершитель Колеса, Источник Времени и Мира, Смысл Граха, Неиссякатель Белого», - добавляя к ней в течении пяти-семи минут в свободной форме свои собственные восхваления. Во-вторых, в полдень, перед заходом солнца, и в полночь «саквари» нужно было повторять еще раз, подтверждая свою преданность. В-третьих, начиная какое-либо дело необходимо было произносить троестишие «раквари ма сим», иначе оно не могло достигать успеха. В-четвертых, застыв на мгновение нужно было коснуться мизинцем левой руки, пупка, макушки головы и кончика носа, каждый раз произнося: «Вечен, абсолютен, всеблаг», поскольку пупок, к которому когда-то прикреплялась пуповина матери символизирует источник жизни, макушка головы означает «лирим» - часть вселенского разума, а нос особый орган – «симбис», который способен впитывать в себя маленькие частицы предметов, если считать, что запах это молекулы вещества. Кроме этого, в-пятых, была введена обязательная раз в сутки медитация и беспрекословное подчинение фараону. Лавлинский понял, что религиозные конструкции, в отличие от политических учений, обладают универсальной силой, большей приспособляемостью и способностью действительно объединить. В отличие политических идеологий, в них есть что-то такое что не по зубам любому наукообразному гуманитарному знанию – они предлагают истину. Философия и наука твердят, что истина относительна и потому будут всегда проигрывать.

Когда уверенность превратилась в постоянное для Лавлинского чувство, он стал вновь писать стихи и «занялся живописью». У высшего лица обязательно должны присутствовать бесполезные с практической точки зрения занятия. Из под пера выходили, сделанные акварелью, альбомные листы бумаги – неровные и сморщенные после высыхания, зато несущие значительный аллегорический смысл. Частым сюжетом был огненный шар на фоне голубого неба, которому лишь в редких случаях удавалось придать ощущение объема. Любое произведение вождя, руководителя, начальника априорно является гениальным. Не смотря на несовершенство техники, незнание ее азов, отсутствие осмысленности, оригинальности, способности привлечь внимание и понравиться, гениальная воля суперчеловека не может не проявляться в его стихах или прозе (возможно, не вписывающихся в привычные каноны принятых стилей) и с этим соглашались последователи Лавлинского. К сожалению, сюжеты быстро иссякли, шары, линии и бесконечный синий цвет – надоели, и поклонники, число которых увеличивалось, были обделены счастьем новых работ. Рисунки как и стихи он создавал раньше, но это было в другую эпоху и делалось из совершенно других соображений. Несколько лет назад он регулярно посылал свои рисунки в детскую телепередачу. Он подписывал их: «Надя Хохлова, 5 А класс» или «Виктор

Бабаев, 7 лет», и кукольный ведущий, перечисляя, ни разу не забывал назвать рисунок, четко прочитав фамилию. Лавлинский плакал оттого, что не мог послать рисунок от своего настоящего имени, услышать, как произносят его настоящее имя по телевизору и испытать настоящий восторг, а не подыгранный.

14:22 В середине рабочего дня, когда Интернет стал работать медленнее, наглая Агудова, окрыленная поздравлениями, продолжила свой допрос:

- Лавлинский, - спросила она, - ты почему не поцеловал меня в щечку ?

Лицо покраснело, сам фараон вспотел, пальцы стали липнуть к компьютеру. Межполовые отношения были для Лавлинского болезненной темой, так как в 27 лет он оставался девственником, не представлял как избавиться от такого груза, боялся, что с каждым годом вероятность остаться им становится все больше.

- Мы не женаты, - ответил он.

- Ну так давай поженимся. Я тебе не нравлюсь ? Смотри у меня, а то уволю.

- Нет нравитесь, - еле-еле произнес Лавлинский, отчего начальница рассмеялась впервые беззлобно за этот день.

- Так в чем же дело?

- Я выше женитьбы.

- Да ладно. Небось порнуху-то смотришь дома?

- Нет, не смотрю.

- Врешь.

Три милиционера в бронежилетах и автоматами в руках не дали Лавлинскому объяснить, что мужчина не обязан целовать малознакомую женщину, даже если у нее день рождения. Никогда не видевшая так близко от себя автоматическое оружие Агудова замерла на месте, в то время как милиционеры, однозначно остановив внимание на Лавлинском, обступили его и предложили подняться со стула. Гладко выбритые мужские щеки, с утра нашлепанные твердой ладонью с капельками одеколона, развивавшие сильный мужской аромат и синяя рубашка под мундиром заставили Лавлинского дрожать. Так больного почти доводит до обморока не операция, а вид инструментов и необходимые приготовления к ней (один из телохранителей гендиректора, бывший милиционер, пользовался таким же одеколоном). Одинаково чистые, одинаково серые, способные железно сжать твои локти, если те вдруг начнут вырываться, способные заломить руки за спину и заставить подчиняться, карательные представители демократии вызывали у Лавлинского восторг как и все мускулистое и крепкое. Белые волосы, выглядывавшие из под кепи, рыжие брови с чистым коричневым глазом, кобура на боку, со свисающим кожаным ремешком, шнурованные ботинки – все это и пугало и в то же время как-то пакостно радовало его. У него не было ни секунды сомнений в справедливости ареста, но никто никогда сразу же не соглашается признать свою вину, тем более если обвинители появляются так неожиданно. Лавлинский, выходя из-за стола, недоуменно засмотрелся к глаза Агудовой с выражением готового вот-вот расплакаться перед начальством подчиненного: «Я мальчик-то хороший. За что меня?»

Слишком неожиданно и слишком быстро все произошло для него: уже минут через двадцать, сдернутый с рабочего места, «одетый» в наручники Лавлинский сидел в железной коробке, отделенный от белого света решеткой. Когда ему объяснили, что обвинение против него серьезное и остаться здесь он может на долгие годы, скорые с раннего детства слезы, медленно и беззвучно залили все лицо. Доставившие его три милиционера, оформив документы, уехали в город, тут же став для него сильно

родными, состояние истерии стало подкатываться изнутри и только вспомнив о своей истинной сущности, он сказал «Рабара кари» и немного успокоился. Когда начался первый допрос, он почувствовал уверенное превосходство. На просьбу назвать себя, Лавлинский с паузой ответил:

- Я – Фараон, Царь Мира, Иисус Христос, Будда и Сущность в Абсолюте.

- Когда родились?

- Я никогда не рождался и не умирал – моя сущность вечная, ибо как может быть мертва Истина ?

- Место жительства?

- Я живу везде. Я – в каждой частичке мира и нигде, в то же время. Ведь Я же создал все – как Я могу «жить где-то» или не жить «где-то» ?

- Гражданство?

- У Абсолютной Истины не может быть гражданства.

Допрашивовавший оперуполномоченный, всмотревшись в его внешне не содержащее признаков дебильности или психической ненормальности лицо, так и не смог полностью заполнить свою бумагу. Сухая отчетность не терпит ничего удивительного, в то время как ответы задержанного, не смотря на четкость формулировок, были один страннее другого. После четвертого такого провозглашения, находившиеся поблизости милиционеры столпились в помещении, где проходил допрос, а «опер» ради смеха, но уже без попыток записывать задавал их еще и еще и получал те же самые ответы. Он развлекал коллег до тех пор, пока появившийся, красный, орущий начальник ни разогнал всех.

Выпивавший синюю рубашку животик, вывернутые багровые губы, произносящие громкие гавкающие слова, и общее впечатление человека с красными разорванными глазами, который то ли не выспался, то ли с похмелья, который ни говорит, а ругается, ни руководит, а вертит, и никогда ни на ком не задерживает взгляда, а только скользит, выпускает ругань между делом, - уже не произвели на Лавлинского никакого пугающего впечатления. Пластинки полковничьих пагонов свисали с плеч чуть ли ни на грудь, влажная лысина была покрыта какими-то шероховатостями, правый карман внутри брюк был разорван, отчего из него уже два раза за сегодняшний день выпадало удостоверение, так что начальник, вдруг чувствуя, что оно находится где-то в районе колена, подергивая ногой, нагибался и высовывал его из под штанины. Появившись в проходе, он одернул со спины рубашку, поправив пагоны, пригладил лысину и по привычке запустил руку в брючный карман, хотя удостоверение уже часа два лежало в пиджаке, оставленном в кабинете. В его пальцах мялась белая сигарета, дожидаясь огня. Водя руками, при речи, он выставлял ее как указку то туда, то сюда – резко и, в то же время, бережно, опасаясь сломать свой главный источник пополнения энергии. Перевидав за время своей работы несколько тысяч самых разных задержанных граждан, выслушав «опера», не задавая никаких официальных вопросов, он подбежал к Лавлинскому. Нависая над ним сине-багровой грузностью, насквозь пропахшей табаком, он спросил:

- Ты зачем мать убил?

- Я – Фараон. Старая, умудренная опытом женщина, должна была более подчтительно разговаривать со мной.

Считая, что по роду исполнения социальных обязанностей он, работник органов, в некоторой степени несет воспитательную функцию, как, например, тот же учитель или преподаватель, полковник Корнилов время от времени позволял себе воспитательные жесты, в виде проповеднических угроз, но, не ожидая открытого

признания, отступил:

- Товарищу место в дурдоме, а не в тюрьме.

Глава 5

5:38 Мысль строителей, возведших управление ФСБ, понятна – им поручили утвердить незыблемость порядка. В крыльце, в задернутых шторами окнах, даже в камерах, которые более неуютны, чем видеонаблюдение у входа в какой-нибудь банк, многим так и видятся многозначительные намеки на страшные секреты. Большая площадка перед входом постоянно пуста, хотя метр земли в этой части города стоит огромных денег, здесь не останавливаются машины и не назначают встреч пешеходы. У некоторых моих знакомых лаконичные, вроде бы мирные термины - «ориентировка», «профилактика», «активные мероприятия», - вызывают дрожь. Эти некоторые не понимают, что невозможно бороться с системой, не сталкиваясь с работниками этих служб, что активистов заметных радикальных организаций держат под колпаком постоянно, и когда-нибудь наиболее активным придется переходить на нелегальное положение.

Впервые мне позвонили домой и пригласили на беседу, когда я учился на третьем курсе университета – оперуполномоченный Антаков заинтересовался нашими тогда еще неумелыми листовками, открыто призывающими к «социальной розни». Будучи по малолетству слишком смелым, я послал его. У меня не было работы, семьи, за учебу не держался и считал, что в любой момент смогу сорваться с места и начать «тусить» по стране. Среди моих тогдашних знакомых – алко-панков, любителей автостопа, «вписываться» в поезда, на собаках объехать пол-страны, жить аском и мелким воровством, считалось достойным занятием.

В течение следующих трех лет, когда мы выходили из студенческого возраста, осознавая необходимость проведения каких-то осмысленных действий, на нас обращали мало внимания. Только с президентских выборов 2000 года, когда мы попытались сделать заметную акцию, внимание системы стало увеличиваться необратимо. В других городах, где были наши группы, все происходило по-разному, но обычно в прямой зависимости от взрослости и серьезности намерений членов. Самая неудобная ситуация возникла в Краснодаре. Лидер краснодарской группы, активист с десятилетним стажем, несколько раз привлекался то как свидетель, то как обвиняемый к уголовным делам – органы в течении нескольких лет стремились изолировать его, и в конце концов, Митя сел всерьез и надолго.

Когда мне позвонили домой во второй раз и пригласили на беседу, я пошел: они знали, где я живу, работаю, поэтому прятаться, пока ничего серьезного не было не хотелось.

Два фсбэшника Антаков и Сомов приняли меня подчеркнуто мрачно. На первом этаже Управления имелось специальное помещение для бесед. Выпучив глаза, как два удава, они всем своим видом показывали – «Мы хотим, чтобы ты понял...»

С виду Антаков был крайне компанейским человеком, который, сидя в дружеской компании, радуясь, что все наконец-то собрались вместе, удовлетворенно ухмыляясь, машет рукой и на все вопросы отвечает репликой: «Да все понятно!». Такие люди быстры в движениях, ходят с видом будто бы нашли маленький клад. Они всегда на подъеме и постоянно подкалывают знакомых безобидными шутками, рождающимися

из мгновенно подмеченных деталей, на которые не знаешь, что ответить. Типаж «Эх, была не была!», постоянно встречается в разных сообществах, в разные эпохи трансформируясь в зависимости от культурных установок и социальной среды, но суть такого поведения неизменна: «Я балагур и лихач метких выражений». В сфере охранительных государственных органов, Антаков, как человеческий тип, потерпел ни мало изменений, впитав «ментовские» шутки на грани грубости и черного юмора, ментовский тип поведения, до предела усиливая впечатление о себе – что вся правда жизни ему давно известна наперед, но я разгадал его, не смотря на все попытки ухудшить мне настроение. Сомов – более старший по возрасту, с жирным бритым затылком, не напускал на себя мрачный вид: и без того был угрюм. Когда он пытался во время беседы расположить к себе, это у него получалось с трудом, потому что за искусственными натянутыми улыбками проглядывало что-то тупое и плитообразное. Вместе они «курировали» нашу деятельность, и наиболее активным из нас пришлось с ними сталкиваться.

Отношения между активистами и работниками охранительных структур этих структур – как между продающим и покупающим: ФСБ всегда вносит в них оттенок гадливости, потому что им не интересна наша ВЕРА – они рассматривают нас исключительно как людей, которых с помощью страха или за деньги нужно заставить сообщать необходимую информацию. Они мало вникают в наше мировоззрение, считают, что нам просто нечем заняться, обзывают нас «придурками», «наркоманами», «маргиналами», «уродами» - странными ненужными людьми, логика и смысл действий которых не понятен, в то время как мы считаем себя цветом молодежи, продвинутыми, современными. Мы гордимся, что занимаемся самообразованием, сопротивлением, а не ходим по барам-боулингам, сознательно отказываясь искать себе тепленькие местечки.

Во время этой беседы мне пригрозили и просили «передать товарищам». Как только нас стало больше, повысилась интенсивность деятельности, стали происходить всякого рода таинственные случаи: то ко мне на работу придут клиенты, задающие странные вопросы, то некоторые из нас обнаруживают, что домашние телефоны прослушивают, то Панкеру подкинут наркотики. Все действия ФСБ против нас в период, когда организация начала подниматься, заключались в попытках запугать участников, противодействовать в некоторых акциях, оказывать давление на работе\учебе, устранять наиболее активных на год-два по липовым уголовным делам.

Когда был первый обыск, меня с непривычки трясло. Неожиданный звонок в дверь в середине рабочего дня, когда не принято ходить в гости, и тщательное перевертывание всего в квартире было спланированным мероприятием. Следовало хорошо подгадать, чтобы застать меня в понедельник в два часа дня дома. К вечеру трое взрослых мужчин превратили квартиру в безобразное месиво вещей – будто младшая группа детского сада провела здесь три часа без присмотра. Даже грязное белье из каких-то извращенческих побуждений было тщательно рассмотрено. Поиск наркотиков стал универсальным предлогом для всякого рода назидательных действий. Присутствовавший при обыске Антаков, сопровождал его неисчерпаемыми замечаниями: вытаскивая из груды книг какую-нибудь бумагу, спрашивал меня:

- А это что – план восстания ?

Обнаружив книгу со словами «революционный» или «анархизм» в названии, восклицал:

- Ну все, все – 275-ая статья!

Извлекая разрешенный для хранения нож, убедительно пугал:

- Парень, ты влип по самые гланды, - не обращая внимания на то, что я так и не ответил ни на одно из его замечаний.

Демонстрируя свое отличное настроение, он осматривал вещи так, словно все это делалось не всерьез, словно действие было не здесь и сейчас, с занесением необходимых деталей в протокол обыска, а в каком-то дурацком мультфильме. Я знал, что эпоха противостояния, которую открыл внутри себя каждый из нас, когда все остальные ходили на работу, трахались, стараясь не думать о неприятном, самых активных рано или поздно приводит в тюрьму, но не думал, что со мной это произойдет так скоро. Когда ты становишься заметным для системы, пытаешься вгонять булавки под ее грубую бетонную кожу, она тебя берет под наблюдение.

После обыска меня арестовали, предъявили обвинение, и начался особый тюремный период жизни. В наших группах никогда не приветствовалась идея расширения сознания, а сам я считал, что сознание нужно расширять путем накопления резких и новых впечатлений в реальном мире. Ограничение передвижения, быстрое изменение обстановки, тюремный быт – были новым опытом, заставившим почувствовать: «Я думал жизнь – такая, а она, оказывается, может быть совсем другой, и как ни поверни, будешь видеть с новой стороны – какая же она на самом деле?»

До тюрьмы я представлял себе среднестатистического заключенного в виде обезьяны, с ног до головы исколотой синими татуировками, говорящей только матом, грубо и шепелявя. На деле оказалось, что это мужчина тридцатилетнего возраста рабочей профессии, осужденный за кражу, драку или убийство, и хотя, в камере были и багрово-синеватые типы, атмосферу в ней определяли, находящиеся в соке и цвете лет русские воры, вместо мата говорящие на блатном языке. За фразу про мать, употребленную с нецензурным словом, можно было стать инвалидом), носящие татуировки только там, где положено. Я думал, что воровавшие на воле люди совсем беспредельно воруют друг у друга в тюрьме, я был удивлен полным отсутствием воровства среди сокамерников. Положив с утра на общий стол пачку лезвий, в камере, в которой вместо положенных восьмидесяти сидело сто пятьдесят человек, вечером ее можно было найти на том же самом месте. За воровство у своих привязывали к оконной решетке, и били всей камерой – каждый был обязан ударить несколько раз, иначе мог оказаться на его месте; администрация в такие казни не вмешивалась, избиваемый орал как бешенный, а в протоколе писали, что умер от сердечной недостаточности.

Тюрьмой полностью заправляли воры, которые, с одной стороны, демонстрировали, что держат порядок, с другой, когда было выгодно, отступали от воровских законов. Собрав как-то камеру, они объявили, что азербайджанец Сулим, которого сделали «покером» (опущенным) через два месяца после появления в камере, оказывается «нормальный мужик». Через своих сородичей Сулим смог доставать им героин.

На воле я прерывал собеседника, грубо отзывающегося о людях нетрадиционной ориентации. Слова «пидор», «петух», «педик» резали ухо. Увидев в тюрьме, что за простое касание такого человека можно было начать есть с пола, а потом всю ночь доставлять удовольствие всей камере, я понял, что пытаться говорить о гуманизме по отношению к опущенным с заключенными, опасно для собственной жизни. Единственное, что я смог позволить – не насиловать их, говорить вежливо, но и не подпускать к себе. Иногда обращение с ними некоторых особо садистских и озлобленных сокамерников возмущало не только меня, но и еще одного-двоих гуманистов, но мы могли лишь вступаться устно.

Сначала начали сажать товарищей в одном городе, потом в другом, мы делали акции

протеста, собирали деньги на адвокатов, посылали возмутительные письма в прокуратуру, а я, удивляясь, почему все это меня никак не касается, был морально готов к тюрьме. В целом, тюремную обстановку по рассказам товарищей и художественным книгам я представлял верно, но ни в песнях, ни в книгах, ни устно, вам никто не расскажет, как пытаешься скрыть дрожь на первом допросе, как тупо и быстро тебя ловят на противоречивых ответах, как тоскливо бывает, когда следователь, свернув папку, уходит, оставляя тебя одного на час или два в комнате для дознаний, в которой нет даже окна, как после таких сеансов малодушно сжимается утроба и хочется броситься на пол перед мучителем.

Некоторые события для меня были неизбежны. Начав заниматься политическим протестом, я чувствовал, что когда-нибудь сяду за это, начав встречаться с Олей, я чувствовал, что, в конечном итоге, мы не будем вместе, познакомившись с Юрием Алексеевичем, понял, что теперь начнется наше движение вперед. Это предчувствие – как пересоленный суп в гостях: все молчат, убеждают себя, что ничего страшного, но неприятная, непроговариваемая истина всем понятна – суп солен и его надо вылить в помой, но признают это только когда он съеден, да и то через несколько дней. В системе координат современной культуры я был атеистом, но это слово в действительности не выражало моего мироощущения: люди придумывают богов, молятся им, приносят им жертвы, строят ради них здания – конструируют и с течением веков выстраивают мощный фантазм (тексты, обряды и самые глубинные чувства) и в этом смысле я был атеистом. На самом деле я более ревностный верующий, чем многие другие: я не принимаю монументальных конструкций, провозглашающих, что открыт путь к истине, но принимаю веру в способность изменить мир так, чтобы он стал не так трагичен и уродлив, не так безжалостен к личности, и что делать это нужно начинать уже здесь и сейчас. Я всегда считал, что есть два пути: или пробиваться к реальности, раскрывать глаза на нее самим себе, или, пользуясь теми же самыми инструментами (философией, наукой, искусством), надстраивать новые конструкции – еще более мощные, фантастические и масштабнее старых. Левые начала 20 века пробивались к реальности, левые начала 21 века уже жили в мире конструкции, поэтому, достигнув политической зрелости, я перестал называть себя «марксистом» или «анархистом», оставаясь в то же время убежденным левым, понимая, что нужно вновь брать бур и пробиваться к бытию, как шахтеры в забое пробиваются к золоту.

Сидя в переполненной тюрьме, общаясь с сокамерниками, я заново переосмысливал все, что мы делали, против чего делали и для чего, вспоминая то самые воодушевляющие моменты, то периоды спада, когда, казалось, – «еще немного и я уйду». Одна из подбадривающих речевок, которую мы кричали, переживалась особенно полно и ясно: «Сбили с ног? Обязан встать!». Я ощущал наказание системы, чувствуя, что это первый случай, когда сбили с ног, но обязан встать. Тюрьма меня закалила, убедила еще больше в правильности моего мировоззрения.

Способы наказаний системы мало совершенны. Вместо того, чтобы изолировать, она поместила меня вместе с такими же преступниками. Вместо того, чтобы посадить в одиночку, раздавить психику, предоставила возможность пообщаться с такими же, как я, преступившими ее законность, заразиться их глухой основательной злобой, увидеть, что кроме отупевших от телевидения обывателей в нашем обществе есть довольно большие группы мужчин, также как и я – выбитых из колеи, затаившихся, отторгнутых, более половины из которых вполне нормальные, адекватные люди. «Мы не одиноки, есть те, кого система тоже прессует, а, значит, есть смысл бороться»

– вот решение, которое я вынес.

За отказ от сотрудничества следователь Мохнатый пообещал переселить в камеру к «сукам», то есть заключенным, которые умудрились нарушить не только общепринятые, но и воровские законы. На зоне им грозила верная смерть, но в тюрьме их кормили и держали с постоянной угрозой перевести в воровскую камеру. Ими пугали воров и использовали, как последний способ давления, потому что любого в такой камере опускали, постоянно били и никто не выживал больше месяца. Эти люди, помещенные вне рамок какой-либо реальности (их могли убить в тюрьме, на воле, на этапе, в лагере), беспрекословно выполняли любое приказание тюремной администрации, от которой полностью зависели их жизни, и я решил, что не дам себя опустить, сразу начну драку – пусть лучше забьют до смерти.

В камере, куда меня перевели, сидели люди по воровским статьям, но вору их своими не считали. Обладая необузданной физической силой, многие из них не отличались смекалкой, а уголовные деяния некоторых были смесью тяжелой трагедии с черной комедией. Многие когда-то были уважаемыми в уголовном мире, но теперь деградировали от алкоголя и наркотиков. Я вздохнул с облегчением - пусть отморозки, но не "суки".

Авторитетом здесь считался Леха Вялый. Угрожая ножом, он ограбил бензоколонку у собственного дома, вместо денег (их в кассе не было) взял чеки, а на следующий день, все это забыв, в то же место пошел их обменивать. Из-за отсутствия заключенных с здоровой трезвой психикой в камере требовался "дорожник" - парень, способный поддерживать связь с другими камерами - я им стал. Здесь на несколько месяцев я перестал ориентироваться, что происходит в мире, так как вместо новостей по телевизору авторитеты включали только сериалы, шоу и смотрели порно-фильмы, никого не стесняясь, онанируя во время охающих и ахающих сцен.

После восьми месяцев заключения я получил «условку». Из камеры с вонью, туберкулезом и серыми измученными лицами, я был выкинут прямо в середину весны. Администрация, опасаясь митинга под стенами до последнего момента таила дату моего выхода. Сев в пригородный автобус, я, улыбаясь, объяснил кондуктору, что "только что вышел". Она ничего не смогла ответить, а все пассажиры обернулись недоброжелательно - я нарушил их привычную сонливость, испортил настроение наглой интонацией.

Был будний день, родителей дома не было. Я несколько часов простоял в подъезде, а когда они пришли, стал обзванивать товарищей, а мать, стоя на кухне робостью – я теперь был «тюремник», спросила - намерен ли я продолжать заниматься "деятельностью".

Все родные хотели бы меня видеть человеком с семьей, женой, машиной, постоянно и хорошо оплачиваемой работой, чтобы не было никаких сходов, поездок и квартир, заваленных до потолка политической литературой, чтобы я только трудился, растил детей и больше ничего. Только ли моя вина в том, что ничего не вышло из этого? Ведь я пытался и жениться - не получилось, и иметь постоянную работу - загремел в тюрьму, и стабильность, но кто-то словно не давал мне остановок. В те моменты, когда казалось, что вот уже обозначается в личной бытовой жизни что-то прочное, все начинало рассыпаться, словно кто-то играл надо мной и говорил - "Так, хочешь не хочешь, но этот этап закончен. Мобилизуйся и давай все сначала". Я с трудом выстраивал какой-то домик, потом налетал ветер, домик разрушался, задача повторялась, но в более сложном варианте - нужно было строить опять тот же домик,

но уже выше и лучше и только для того, чтобы он снова развалился. Я иронично усмехался, когда мне твердили: пора жениться, но никто не знал как, запираясь один, я молча и бесслезно поскуливал сам с собой от тоски. Бывало кого любить, были и те, кто любил, но не клеилось, а я вновь и вновь упрявился и не считал себя обреченным.

Благодаря непрерывному развитию организации, я быстро оказался вовлеченным в знакомую родную среду, уже через несколько дней начиная забывать свою отсидку. Я не думал маскироваться и делать вид, будто пока решил не проявлять активность.

Объединяющиеся люди ищут в совместной деятельности общих ощущений в опасности и в радости. Те, кто отдает лучшие годы борьбе, получают это сильное чувство большой семейственности. С течением времени взгляды корректируются: кто раньше призывал бороться за права секс-меньшинств, через несколько лет будет говорить совсем о другом, кто морщился при слове "организация" - будет вкладывать в него весь смысл своих усилий, кто боялся милиции и бледнел при слове ОМОН - научится в числе первых кидаться на милицейские кордоны. Жизнь в течение нескольких лет внутри такой общности из трусливого интеллигента может сделать борца.

Меняясь, люди пересматривают жизненные установки и предпочтения. Товарищи, с которыми вместе начинал, превращаются в соперников по влиянию на рядовых членов, к внешней борьбе прибавляется внутренняя - за пункты программы и резолюции: неожиданно возникает с виду мелкий вопрос, на котором срывается работа и прежняя дружба трещит по швам. Когда на очередной конференции собранный широкоплечий бритоголовый Шим вставал и неторопливо доказывал, что в организации нужно ужесточить дисциплину и подтянуть структуру, а его вечный, громкий, перескакивающий с пятого на десятое, пухленький, как Карлсон, оппонент Иван, опасался как бы всех не заставили ходить в униформе, то особенно было ясно, что сталкиваются не идеологические принципы, а разные человеческие типы: спортсмен, у которого на уме драки, пистолеты и коктейли Молотова и "учитель истории", который знает все по истории революционных движений, но навряд ли сможет ударить человека по лицу.

5:39 Началом нашего разлада с Олей стал один из самых неприятных для меня разговоров, после которого я почувствовал, что ничего хорошего у нас с ней больше не будет. Еще до этого, под разными предлогами она стала оставаться ночевать то у родителей, то у подруг, резко обрывая любые мои полуслова по поводу честности. Достав с книжной полки «Дон Кихота» Сервантеса, развалившись на диване, опираясь подбородком в грудь, она прочитала, придавая голосу выразительность, в которой ясно слышалось желание задеть меня:

- «Сеньор! Кто этот человек такой странной наружности и который так чудно говорит?

- Кто же еще как не достославный Дон Кихот Ламанчский... искоренитель зла, борец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, победитель на ратном поле!» Это про тебя – «заступник девиц», - сказала она со смехом. – Как это на тебя похоже. Ты посмотри – тебе скоро тридцать, а ты до сих пор одеваешься как школьник: в драные джинсы и черные кофты с капюшонами.

- Ну и что?

- Взрослеть пора. Я недавно перечитала твои статьи, которые раньше мне так нравились и, мне кажется, у Сервантеса и про это есть.

- В смысле?

- «Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь очевидна, что вы уверены в своей...»

- Замолчи. Зато ты у нас не слепая – сама объективность в первом лице.

- Нет не замолчу! А вот про ваши «классовые антагонизмы» и бесконечные пророчества о будущих боях и о том, что революция неизбежна: «Должно заметить, что воображение его всечасно и неотступно преследовали битвы, чары, всякого рода нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок – вокруг этого вращались все его помыслы, и на это он сводил все разговоры...»

- Ну, спасибо тебе...

- Или вот еще. Я хочу, чтобы ты это внимательно послушал: «Оглянитесь! Нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, доспехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных!» Оглянись, Дима, нет тут никаких пролетариев, никаких забастовок и никакой классовой борьбы! Тут есть только чиновники, обывательская вялость, бытовой расизм и будущая экологическая катастрофа!

- Ты становишься такой как и все – тонешь в апатии.

- Я ни на что не претендую.

- Я тоже.

- Ты-то как раз претендуешь. Такие, как ты, считают, что они всегда правы. Ты у нас – прирожденный организатор. Ты привык всех подчинять своим целям и руководить.

- Я ни кем не руковожу, - ответил я, подавляя подкатывающую злобу, не ожидая таких упреков от человека, с которым четыре года проспал на одном диване.

- Тебе же нужны Санчи Пансы, которые в тебя верят.

- Мне нужно только одно – знать, почему ты все это мне говоришь.

- Потому что я устала тратить свою жизнь на бессмысленные вещи. Мне надоели эти сборища каждую субботу, эти девочки, которые смотрят на тебя как на памятник...

- У меня с ними ничего нет.

- Ну и что! – почти крикнула она, переместив себя из небрежной полулежащей позы в прямую, сев на диване, поджав колени, - Ну и что!

С этого момента исчезли доверительные беседы в постели, внимательные взгляды, привычные поглаживания и именно те самые простые жесты, которые невидимо, но прочно нас связывали.

5:40 Интернет, появившийся в широком распространении примерно с того момента, когда появилась наша группа, всегда играл большую роль в координации и пропаганде нашей деятельности. Половина людей к нам приходила первоначально через наш сайт. E-mail Антона мало чем отличался от обычных посланий. Программист компьютерной фирмы сочувствовал нашей деятельности и хотел бы в ней участвовать. Кто когда-нибудь встречался «по объявлению», поймет выжидательное нетерпеливое ощущение, с каким высматриваешь в окружающих прохожих незнакомого, который через несколько минут станет знакомым, находя его в любом, гадая, что же за типаж вдруг вынырнет ниоткуда, ворвется в твою жизнь, ,возможно, станет хорошим приятелем и ему будет отведена соответствующая строчка в записной книжке. Будет ли он держаться нагло и спрашивать, поддевая твою спесь резковатой интонацией голоса, или говорить вкрадчиво и внятно, молча проглатывать спорные для него точки зрения, оставляя их обдумывание на потом? В большинстве, люди, которые приносят пользу ведут себя одинаково – они не спорят, не пытаются что-то доказать, больше слушают и присматриваются к тебе.

Свисающие до плеч двумя мятыми локонами волосы, похожие на старое немытое

тряпье, большие очки со стеклами размером с футбольный мяч, при первом взгляде произвели неблагоприятное впечатление. Длинное тело, майка с названием хэви-металл группы, один в один совпали с моим представлением, как должен выглядеть человек, не знающий в жизни ничего, кроме компьютеров и языков программирования. Выше всех обычных людей на голову Антон постоянно горбился, лохматые волосы, закрывающие ему обзор перед собой, все время приходилось откидывать ладонью. Толстые, всегда потрескавшиеся губы, выносили быструю ровную речь, которая вместе с чистыми, а не мутными, как у некоторых компьютерщиков глазами, к счастью, подавала вполне адекватно воспринимающего мира человека. Замолкая во время разговора, он всматривался тебе в лицо с выражением, будто только что охарактеризовал твои самые тяжелые недостатки, и, ожидая возражений, спрашивал: «Ну, что ты еще мне скажешь?» С первого взгляда вспомнил, что «дядя длинный и худой, носит воду бородой», и уже не мог отказаться от такого мысленного, для себя, обозначения.

- Я программист.

- Я понял, - говорю.

- Я могу вам делать сайты.

- Это круто.

- Еще я могу верстать газету, если она у вас есть.

- Идет.

Один знакомый коммерсант не поверил, когда узнал, что мы работаем бесплатно. Для среднего обеспеченного потребителя это было слишком фантастическим открытием, он не мог понять, как можно тратить свои лучшие годы и душевные силы на альтруистичные вещи и идеи, несостоятельность которых «показал развал СССР». Люди, которые к нам приходят, ищут прямое открытое человеческое общение, не испорченное корыстью, завистью или формализмом. «Я стал жертвой коммунистических отношений. Общие жены – это перебор», - шутил Антон, жена которого не только ему изменяла с начальником, но и укрывала вместе с ним часть доходов их общей небольшой фирмы. Антон забрал свой компьютер из офиса, подал на развод и через несколько дней устроился в большую компанию, куда его давно приглашали.

«В пятнадцать лет, когда компьютеры у нас в стране были примитивные, я начал практиковаться в хакерстве. Я никогда не снимал с чужих счетов большие суммы, но все равно попался. Отец на суде сказал, что я не вполне нормальный ребенок. Он сказал, что, взламывая чужие пароли, я думал, будто играю в компьютерную игру. Там, конечно, рассмеялись, но конфискованный компьютер не вернули. Как выяснилось, из милиции отец отнес его в комиссионный магазин, и с тех пор у нас почти два года дома не было компьютеров, но мне это мало помогло. Меня очень удивило, что несколькими нажатиями клавиш, можно собрать вокруг себя два десятка людей - журналистов, милиционеров. Оказалось, что реальность очень сильно связана с компьютером, и если правильно нажимать кнопки, то можно управлять не только компьютером, но и реальностью.

По образованию я физик, даже в университет поступил, не на «вычислительные машины», а на физический факультет. Сети я потом все равно взламывал, чтобы не потерять навыка, но уже ни разу не попадался. В общем-то, измена жены для меня была вторым жизненным уроком: я считал, что добился победы, взяв такую красивую девушку, а оказалось - никакой победы и нет, раз она так легко и спокойно с ним спала. Может быть, я так и был для нее компьютерным лохом, ничего не

понимающим в жизни и человеческих отношениях, а, может быть, секс на стороне для нее просто норма. Она мне потом объясняла, что не смогла удержаться – Паша был слишком настойчив.

Я считаю, что классный программист – ни с пустой головой, а с философским, так сказать, подходом – полубог в нашем мире. Деньги – это виртуальная реальность. Компьютеры – тоже, и они липнут друг к другу. Но вы не надейтесь – воровать со счетов валюту я для вас не буду. Я могу предложить кое-что интересней», - сказал он мне через несколько месяцев знакомства, когда мы более менее друг друга узнали.

5:41 Мечтательно зевая, пропустив одну остановку, я прошел до следующей. На ней уже во всю шла утренняя толча – приодетые, приготовленные на работу люди, пачками заходили в резко тормозящие маршрутки, на какой-то миг на остановке их становилось меньше, но тут же появлялись следующие. Служащие нерабочих профессий были причесаны и надушены, в руках держали портфели или сумочки. Работники, занятые физическим трудом были одеты в свисающие брюки с аморфными стрелочками, широкие джинсы и всякого рода свободно висящую на теле, пузырьковато топорщившуюся одежду. Кого-то на рабочем месте ждал компьютер, телефон, бесконечные дебаты с клиентами, кого-то – разводные ключи, трубы, окрики бригадира, гниющие коллекторы, кого-то – толпа орущих детей, и всех вместе – начальник, к которому просто так не подрулишь, сослуживцы, шипящие за спиной. Сквозь свежее утро, лето - все равно просматривалась очевидная суэта: люди и машины, которых стало значительно больше, чем два часа назад, создавали ощущение подвижной мешанины, от которой после тихих дворишек чувства выжидательно напряглись.

На холмах, заставленных многоэтажками, в утренней дымке лежал микрорайон. В него в конце концов впадал проспект, он был конечным пунктом большинства автобусов, проезжающих здесь. Одинаковые высотные дома хвастались друг перед другом разнообразием антенн и тарелок, установленных на крышах и стенах. Отсюда же виднелся главный хозяин тамошних кварталов - пятнадцатиподъездный двенадцатиэтажный дом, благодаря угловатым балконам похожий на сильно растянутую желтую гармонию, с антенной в виде иглы на самой середине крыши. Такие районы называют спальными, потому что внутри них не ходит общественный транспорт, нет общественных учреждений (кроме магазинов), это сплошные бетонокирпичные скалы: подъезды, лифты, детские песочницы, здесь только спят приезжающие на ночь из центра жители мегаполиса.

Встав в стороне, я стал наблюдать за людьми - изменилось ли что-нибудь в их поведении, прислушивался к разговорам. Я спросил у мужчины рядом сколько времени и замялся - не мог же я спрашивать, где он работает, как относиться к анархизму и не изменилось ли что-либо в последнюю ночь в этой стране.

На этой остановке Ольга как-то прочитала мне свое стихотворение, а спустя четыре года в двух кварталах отсюда говорились совсем другие слова. Стесняясь высказывать свое мнение на собрании, она высказывала мне. Зачем молодые пацаны закидали краской рекламные плакаты? Потому что большая часть людей не могут купить этих товары. Зачем изгадили здание крупной компании? Потому что ее владелица бандит. Зачем на нашем сайте министр труда обзывается нехорошими словами? Потому что работает в интересах банкиров. Зачем после собрания мы напились пива, пошли на футбол и подрались? Потому что нужно время от времени проверять себя.

Причиной для последней и окончательной ссоры (мелкие скандалы тянулись уже бесконечно) стал приезд эколога из Новосибирска. В обязанности Ольги входило

договориться о помещении для конференции, и дать гостю информацию - кто его встречает и где он ночует. Молча выслушав меня, в день, когда все должно было быть уже готово, вызывающим на ссору тоном, она ответила:

- Я ничего не сделала. Опять будете сидеть на кухне до ночи ?
- Не хочешь - не будем сидеть. А как с помещением ?
- Никак. Сам занимайся. Мне уже все это надоело.
- А ты раньше не могла сказать?
- Нет, не могла.

Из милых и отзывчивых когда-то губок, полетели язвительные обидные словечки, сложившиеся в итоге в общий вывод: или я перестаю всерьез заниматься своим делом или - "я ухожу". Выговорив последнюю фразу, словно сквозь сон смотря мне в глаза, она расплакалась от прямолинейности собственных слов, повисла у меня на плече, но слезы еще не означали, что решение не принято.

Когда мы поехали в поход, оказалось, что она умеет жить в полевых условиях и носить походные рюкзаки. Когда мы ехали в поезде в Саратов, с ней случилась истерика: купив разные билеты, мы сели в одном купе, так как место рядом со мной было свободным. Через несколько станций зашла старуха с внучком, которая, показав свой билет, попросила освободить ее нижнюю полку. Ольга расплакалась и перешла на место, которое должна была занять согласно билету с самого начала. Она не подпускала к себе очень долго и это было выше моего понимания - как можно злиться на то, что справедливо? Очень неприятной для меня была ее привычка вымещать внезапно возникшее раздражение на близком человеке. Если мы едем в автобусе, и он опаздывает по вине водителя, она постесняется сказать что-либо ему, но стоит мне задать незначительный вопрос, как я получу резкий ответ. Стоит мне намекнуть, что новая кофточка не очень хороша, и мы будем холодны два-три дня, в то время как она, увидев мой новый свитер, который оказался слишком широким, будет хохотать сразу же, держась за стену в коридоре.

Она объясняла мне, что замечания для меня - ничто, в то время как небольшая критика ее - могла приводить к истерике. Она была мечтательным, неуверенным в себе человеком, но, в то же время, жила твердой убежденностью в необходимости бороться. Нужно было готовить митинг - делала митинг, писать пресс-релиз - писала пресс-релиз, постоять с плакатом у суда - стояла с плакатом, и все это без рассуждений, просто исходя из того, что - надо. Чтобы обратиться к продавцу в магазине, ей нужно было сделать усилие, но продавать "экстремистские газеты" на улице - запросто, боялась таракана на кухне, но не боялась оказаться в милиции на пятнадцать суток. Потом она просто устала.

5:42 Однажды Антон пригласил меня к себе домой и попросил проанализировать несколько электронных писем. В них было написано по одному-два совета (по типу: «Привет. Тридцатого сентября не задерживайся на работе. Лучше уйди пораньше на пять минут»), - которые он написал сам себе по электронной почте.

- И зачем это? - спросил я
- Тебя не удивляет, что письмо отправлено 30 декабря, а получено 25 декабря?
- Ты исправил даты?
- Никто ничего не исправлял. Я тебе могу предложить кое-что получше, чем просто взламывание банковских счетов. Вы же как первые христиане – я в вас верю за то, что вы искренние и бескорыстные.

Поднявшись с вертящегося пыльного кресла перед компьютером, тряхнув локонами, Антон прошелся вдоль стенки, обклеенной обложками от компакт-дисков и, взглянув

на дверь прихожей, словно за ней притаился отряд ОМОНа, сказал:

- Письмо, которое ты прочел, я отправил сам себе – в прошлое.
- Ну, и что – это же все равно невозможно проверить.
- Это легко проверить. Когда я написал программу, которая позволяет отправлять письма из будущего в прошлое, я уже знал, как это проверить. На некоторых почтовых серверах можно отправить e-mail с задержкой. Допустим, написать письмо в августе, а робот отправит его в сентябре, и в этом нет ничего необычного. Нам кажется естественным, потому что мы движемся из прошлого в будущее, и если я не умру через месяц, то я спокойно прочту это письмо. То есть, я-прошлый могу сказать что-то я-будущему, и мы не видим здесь никакого феномена. А почему нельзя наоборот? Я начал изучать все, связанное со временем, пытался ответить на вопрос – время внутри вычислительных машин реальное или виртуальное? Дошел до того, что ударился в «химию» полупроводников. Возможно, мне не хватало ума, но четкого ответа я так и не получил. Я решил – не важно, какое там время, важно – как оно функционирует. Почтовые программы подогнаны под наше человеческое восприятие, но есть ли внутри Интернет, внутри проводов, по которым мы передаем информацию, время объективно или нет? На первый взгляд – есть. Время и движение в нашем восприятии неразрывно связаны. Не важно, говорим мы о перемещении велосипеда по шоссе или о скорости обработки данных – так или иначе мы их связываем с какими-то однонаправленными процессами. Но есть ли это время, или только одно из его проявлений?

Смеха ради я написал программу, которая будто бы позволяет отправлять электронные письма из будущего в прошлое. Проверить получение такого письма очень легко. Я перестал удалять старые письма со своего компьютера, а вместо этого стал их четко распределять по месяцам и числам. Таким образом, однажды я отправил себе из седьмого июля в пятое письмо с фразой «Тоша – ты идиот», перегрузил компьютер и тут же посмотрел наличие такого письма в старой папке за седьмое июля. Оно там было, хотя я точно помнил, что еще минуту назад его там не было. Я сидел перед компьютером и думал, что у меня поехала крыша.

Вначале я решил, что это иллюзия и не более того. Но нужно было проверить на практике. В тот же день я написал себе на первое июля: «Купи кусок мыла и положи его на зеркало в ванной. Не трогай его до седьмого числа». И что ты думаешь? Я отправил это письмо, перегрузил компьютер, оно лежало в нужной папке, пошел в ванную, и там точно лежал на зеркале новый кусок розового мыла. Я выключил компьютер и вышел на улицу. Я чувствовал себя так, будто рядом обрушилось что-то большое и глобальное, и от меня зависело – захочу я это разрушить или позволю быть.

- Ты ходил в какое-нибудь научное сообщество – докладывал о своем открытии?
- Я боюсь туда идти. Я думаю, что мое изобретение захапают военные и никакой пользы простым людям от этого не будет. Я чувствую ответственность за него. Как вспомню военную кафедру в институте, где меня заставили подстричься, так тошнить начинает. Можно, конечно, продать – но, попади оно в руки коммерсантам, будет еще хуже. Я хочу дать шанс тебе, таким как ты дать возможность изменить мир в лучшую сторону.

- Каким образом?

- Зная свою прошлую жизнь, легко предупредить какие-то моменты, предупредить себя и как-то улучшить ее.

После такого разговора я долго размышлял об этих «поворотных моментах».

Вспомнил встречу с Олей: десять лет назад я зашел случайно в институт и на первом этаже увидел объявление о пикете против «Макдоналдса». Собрав символику и несколько не распроданных на первомайской демонстрации газет, мы нашли у фастфуда человек пятнадцать студентов, растянувших перед входом в заведение баннер «Нет корпорациям!», который посетители молчаливо обходили. Среди них я увидел девушку, которая на глазах охраны нагло клеила стикеры на двери и столики, которую я тут же взял на заметку. Я мог зайти в институт в другой день, за пять минут до моего прихода кто-нибудь мог сорвать листовку – можно найти сотни причин, которые предотвратили бы нашу встречу.

Антон объяснил мне, что любое событие имеет начало, конец, а между ними несколько ключевых точек, и если мы хотим повлиять на конкретное событие – нужно выбирать конкретные пункты. Нужно действовать осторожно и не навредить самому себе – это манипулирование в больших масштабах и отдаленное во времени почти не поддается прогнозированию. Мы живем в мире бесконечных мельчайших событий, и где гарантия, что предупредив себя от попадания под машину, придя домой, не обнаружишь, что в твоей квартире живет совсем другой человек.

Пытаясь схватить события прошлого, я чувствовал, что они не поддаются и рассыпаются горстями как зеркальные шарики. Любая попытка анализа на вопрос о том, что нужно отменить в моем прошлом в конце концов приводила к выводу: отменять ничего не нужно, все события представлялись одинаково ценными, так как уже произошли. Тяжелые ситуации сделали меня крепче, глупости и ошибки – сделали умнее. Ошибка – моя работа менеджером в одной из фирм (два года выброшенные из жизни, в попытке приспособиться к капитализму – лучше бы просто устроился в строительную бригаду, получал бы чуть меньше, но стабильно и вовремя), ошибка – моя глупая поездка на юг летом 1999 года, когда я потерял все деньги, которые мне поручили товарищи и был два раза бит, ошибка – знакомство и поддержание отношений с Максимом Гришевским, который оказался осведомителем ФСБ. Но стал бы я мудрее, если б ни разу не ошибался ?

«После изобретения ядерного оружия человечество способно выдумать вещи еще более ужасные, - говорил Антон.- В современном мире не важно теперь, в какой области проводятся исследования – важно, в какой политической ситуации и кто их финансирует. «Сегодня в Германии возможно все», - сказал Ашенбах в фильме «Гибель богов». То, что я научился сам себе писать e-mail`ы в прошлое, было только началом. Постепенно я пришел к выводу, что мое изобретение пригодно для развлечений или каких-то авантур, и с тех пор меня стал интересовать вопрос , как проникнуть в Интернет будущего – лет через сто-двести и я этого добился, так как один раз приоткрыв дверь уже не чувствовал серьезных преград.

Конечно, пришлось столкнуться с слабостью компьютера – Интернет, каким он будет через два столетия, рассчитан на другие машины. Первое, что меня интересовало в будущем Интернете как программиста – новые программные продукты, и я их себе накачал, потом, вспомнив о своих анархистских взглядах, я полазил по анархистским ресурсам (чуть не сказал – «сайтам»). В Интернете будущего нет сайтов как таковых – есть виртуальное пространство под определенными адресами. В гостевой я пообщался с анархистами – оказалось, что будущее общество с современной политической точки зрения – это анархическое общество, так как там нет государства, а есть два пространства: физическое и виртуальное – в сетях, где и принимаются все важные для общества решения, путем всеобщих голосований, то есть нет чиновников, бюрократов, грязных выборов, политических митингов, водометов, «коктейлей

Молотова», полиции, разгоняющей демонстрации, демагогов и борьбы за власть. Это общество полностью существует за счет электроники. В одной из гостевых я предложил помочь нам – анархистам прошлого, что оказалось возможным, так как у нас уже есть Интернет.

Не знаю, как ты на это отреагируешь, но мне предложили назвать день, когда я хочу, чтобы настало анархическое общество. Без единой жертвы, без кровопролитий, без долгой революционной борьбы, без диких депрессивных состояний, сменяющихся бешеным митинговым подъемом, без автоматов, тюрем и экспроприаций.

5:43 Шагая по городу, я надеялся увидеть черные флаги, улыбающихся, никуда не спешащих людей - некий райский мир, который изображают на своих буклетах религиозные секты. На таких рисунках львы и газели сидят рядышком в утопающих садах и гуляют безмятежные рабы божьи, но вместо этого никаких особенных изменений не наблюдалось - такое же утро было вчера, позавчера и много лет назад. Только газетный лоток меня успокоил - отсутствие привычных названий сразу же бросилось в глаза, и вместо них предлагались какие-то фантастические газеты - "Самоорганизация", "Гражданин", "Зеленый житель", "Ревинфо", "Я", "Моя коммуна", "Социализм и анархия". Попросив "Коммуну", с затаенным возрастающим восторгом, я развернул полосы и стал просматривать материалы.

Передовица рассуждала, что некий совет тридцать второго квартала перетянул на свою сторону автостоянку, хотя городской совет запретил это. Рядом следовала сводка вчерашних событий: "водитель сбил пешехода", пацаны подрались из-за девушки, инвалиды устроили пикет у магазина, не сделавшего дорожки для их колясок. Не было ни слова о выборах, депутатах, правительстве, его очередном нововведении, рекламы и всего грязенького, ехидного и двусмысленного, что обычно раздражает в периодической печати, за счет чего она продается. Не было светской хроники о личной жизни актеров, интервью с ними, телеведущих, звезд, шлюх, крупных чиновников, финансовых сводок, информации о том, как разделили крупный холдинг и кому больше досталось акций, как взрывают военные базы на окраинах мира, куда девать ядерные отходы, и как поймать дезертира, который не хочет служить в армии. Не было президента, его речей, страхов о падении цен на нефть.

Вернув газету, я оглянулся чтобы увидеть рекламу, к которой так привык, что не догадался выбрать ее первым индикатором для определения глубины произошедших изменений. Над подземным переходом всегда висел щит, изображение которого менялось каждый месяц – теперь здесь было пустое место. На таком оживленном участке призывов и расхваливаний качеств вещей должно быть много. Однако, внимательное рассматривание обочины, заборов, стен домов ничего не дало. Никто не предлагал ничего купить, словно ничего вообще не продавалось. Где-то здесь раньше была пятиметровая стойка для баннеров. Под этой стойкой мы как-то подрались с неонацистами. Возвращаясь втроем поздним вечером, мы пересеклись случайно на тротуаре – Панкера и меня некоторые бонхэды хорошо знали в лицо, а численное превосходство и выпитый портвейн им добавили храбрости.

В простом разговоре выбривший голову подросток обычно не может внятно объяснить политические цели своей группировки, потому что никаких целей, кроме хождения на футбол, рок-концерты и экстремального времяпровождения он не имеет, однако, некоторое время мы были вовлечены в непрерывное противостояние с лысыми. Драку они считали единственным способом выяснения политических споров, думая, что это высший метод деятельности, в то время как в действительности это просто экстрим-досуг. Уже во взрослом, а не подростковом мире,

после двадцати, большинство из них начинают стесняться называть себя «скинхэдами», предпочитая обозначаться «правыми», «ультрас», а то и просто «футбольными фанатами».

Провоцируя драку, один из них что-то крикнул Панкеру, затем последовал один из тех эпизодов, который вы можете скачать на любом из фанатских сайтов по ссылке «Махач» номер такой-то, когда возникает куча мелькающих рук и ног. Массовая драка несет в себе сильный объединяющий эффект, если она выиграна или проиграна с достоинством. В нашем случае, мы потом не без удовольствия вспоминали этот эпизод. Численное меньшинство мы компенсировали травматическим пистолетом, который, валяясь в снегу, я смог достать поздно, но когда еще не все закончилось. С тех пор это рекламный баннер долгое время был мысленно для меня памятником той декабрьской драки – кровавый снег, гул в голове от ударов, выстрелов – каждый раз вспоминались мне здесь.

5:44 По проспекту я вышел на гудящее кольцо. Не смотря на ранний час, уже скопилась пробка, которая опухолью нарастала по близлежащим улицам. Со скоростью несколько шагов в минуту автомобили всасывались по направлению к центру. Так всегда здесь бывает: водители сигналият, пешеходы злорадствуют, ГАИ разводит руками, дельцы теряют деньги. Огромный город тужится, но никак не может справиться с забором, и никакая клизма не помогает, так как он слишком много ест, а испражняется жалкими кучками оборванных, обмерзших, распухших бездомных, которых ставит крайними для вида, не трогая главных носителей избытка. То, что называют «деловая активность» (переговоры, заключения сделок, массовые перепродажи), останавливается и пронырливые люди в пиджачках, которые тратят жизнь на то, чтобы обеспечить движение товара, не успевают встретиться и договориться об очередной поставке. Они психуют, среди всеобщего гвалта орут в мобильники, а где-то в офисах, надеясь дожидаться, сидят их партнеры, отбивая дробь пальцами по столам, выпивая очередное кофе, поднесенное секретаршей. Все понимают, что город слишком большой, что в нем слишком много машин, фирм, чиновников, пассажиров в метро и необъятных, вливающих один в другой, проспектов. Никто не может остановить его темпов – новые люди прибывают, чтобы слиться с горожанами, а каждый второй хочет иметь личный автомобиль. Некоторых выгоняют из-за стола, потому что количество мест за ним ограничено. Стоящим в проходе терпеливо объясняют, что они лишние.

С боку проспект задевает трамвайное кольцо. Здесь к неудовольствию Ольги, я признался в любви. Она отодвинулась от меня на сиденье и сказала: «Ну вот, начинается». Увлеченный восторженным щенячьим чувством, я ходил неделями, размышляя – «сказать, не сказать», и в конце концов это превратилось в навязчивую спортивную идею – «смогу не смогу». Трамвай, в котором мы сидели, еле пробивался под осенним дождем, увозя по маршруту последнюю горстку пассажиров. После моей фразы мы молчали до ее подъезда, мой любвеобильный запал иссяк, но дома в прихожей меня тут же встретил телефонный звонок.

5:45 Через пятнадцать минут начнется «Доброе утро». Два ведущих начнут бессмысленную бодрую болтовню. Когда-то утро наших предков начиналось с крика петуха, теперь петухами были они. «Интересные гости» приходят в студию, дают «забавные» ответы на «забавные вопросы». Обычно им не дают договорить, безжалостно гасят той же кнопкой и выходят на улицу, чтобы не опоздать на работу, и, возможно, они еще барахтаются где-то там в темноте экрана, но этого уже никто не видит. Ускоряя шаги, я, наконец, зашел во двор, от которого до подъезда оставалось

минут пять ходьбы.

Еще лет пятнадцать назад здесь жили пенсионеры, получившие эти квартиры в шестидесятые годы от государства. За счет кленов, ухоженных клумб, лавочек, двор обладал особым тепличным уютом. Отгороженный от детей и жен высокими кустами, столик зимой заносило полностью, а летом, расставив пиво и расковыряв воблу, за ним до темноты просиживали доминошники, распространяя вокруг себя хриплый говор и лихие постукивания. Почти все они были квалифицированными рабочими, ушедшими на пенсию, воевавшими на войне. Они заканчивали свой жизненный путь «рыбой», медленным но верным алкоголизмом. Вкопанные в землю турники привлекали рано утром спортсменов, которые, отбегав положенную дистанцию, подтягивались и немного кувыркались на них, а в песочницах строило кулички будущее поколение.

Особым днем было девятое мая, когда каждый доминошник, надев награды, направлялся утром не к столику, а в город на демонстрацию. До обеда двор оставался пустым, жены позволяли садиться с бутылкой водки на кухне - травмированная второй мировой войной психика требовала тумана. Домашняя атмосфера двора, когда мужчины в тапках вечером выходили к подъезду, чтобы выкурить папироску, а в праздники, как в деревне, ходили друг к другу в гости, сохранялась до середины восьмидесятых. Поколение войны постепенно ушло в землю, прежний образ жизни разрушился, агентства недвижимости в последнюю очередь интересовались заслугами новых владельцев квартир перед обществом. Три-четыре оставшихся ветерана теперь редко выходили на улицу, столик снесли, так как за ним стали собираться подростки, чтобы первый раз в жизни попробовать спиртного. Соседи уже не знали друг друга по именам, в подъезды врезали кодовые замки - началась новая эпоха отчуждения.

Поднимаясь по лестнице в квартиру, я вспомнил предупреждение о непредвиденных изменениях, и, оказавшись перед дверью, убедился – тот ли замок и нет ли внутри звуков. В прихожей бросились в глаза женские туфли и легкая куртка, накинутая на вешалку, которую я бы никогда не спутал ни с какой другой, а в комнате засело еле слышимое жужжание включенного компьютера. Не отрываясь от экрана, сидя ко мне закрывающим спину, потоком спущенных волос, Ольга подождала, пока я сяду в кресло рядом и сказала мне:

- Тебе десять писем.

Опасаясь выдать удивление, с обманчивым видом «все в порядке» я сел за стол и открыл письмо от Антона.

«Привет.

Как видишь, все получилось. На площади не видел ни одного рекламного плаката. Помнишь большой электронный баннер на полдома? Его нет. По телевизору какие-то непонятные каналы. Сайта правительства и Госдумы нет. Браузер их не находит. Но я не уверен, что они исчезли на самом деле. На здании суда вместо таблички «Облсуд» висит «Общественный совет приговоров». СИЗО рядом выкрашено в белый цвет, и ворота настежь. Радиостанции, электронные и печатные медиа, а также спутники взяты под контроль. Но нужно сказать, что программа имеет ограниченное действие. Она не влияет на отношения между людьми, не способна нейтрализовать противоречия, она меняет лишь информацию, но не суть событий.

Дел мы натворили. Вечером нужно собраться.»

Глава 6

10:12 По мнению Лавлинского, несколько реальностей, существующих в мире, различаются не только расстоянием и временем, но и системами описания. Избавление от прошлой реальности, в которой он мелкий клерк, стеснительный человек, пассажир метро, сначала происходило через другой язык, другие одежды, другой распорядок дня, а потом он понял, что нужны были и действия.

В какой-то момент Лавлинский ощутил удовлетворенное гадливое чувство, оттого, что члены общины находятся в полной его власти. Он может собрать их в любой момент, разумно и кратко объяснить, что нужно залезть на телевышку, броситься вниз головой (если ни все, то пять-шесть точно бросятся, уверенные, что так и надо), или выехать в лес и закопать заживо одного из членов во имя общего блага – и это будет сделано. Ему открылся некий властный механизм, которым пользуются государство и его управляющие, и только нужно правильного его использовать. «Достаточно собрать при определенных условиях некое количество человек, формально равных друг другу, как жизни большинства окажутся в распоряжении одного или двух из них – это есть власть, - решил Лавлинский, - она возникает везде и всегда, потому что человек мелочен, низок, ленив и пакостлив по своей внутренней природе».

Однажды утром, глядя в зеркало («Иштар – загляденье. Ты – радость моя»), Лавлинский пришел к выводу, что одного из членов общины необходимо мумифицировать, чтобы поднять дисциплину и внутреннюю собранность каждого, и на ежедневных собраниях стал внимательно всматриваться – кого. Прежде, чем выбрать кандидата, он перебрал несколько критериев отбора. «Нужно сделать идолом самого слабого, того, кто пришел недавно, самого ленивого, того, кто не очень вжился в коллектив из-за своей стеснительности, о ком остальные не будут сильно жалеть. Делать мумией психологически самостоятельного и сильного человека, который занял не последнее место в общине и пришел одним из первых – опасно для самого себя. Возможный акт неподчинения плохо скажется на авторитете фараона. Мумифицировать того, кто ревностно, с широко раскрытыми глазами читает молитвы и работает на общее благо вредно – активные исполнители нужны общине. Значит, нужно бальзамировать того, кто работает не в полную силу и как бы не совсем всерьез, вызывает усмешки, кто является в конце концов олицетворением этой самой человеческой пакостливости, мерзости, неполноценности (физической и моральной) и уродства».

Таких было двое. Во-первых, Лида. Слюнявые, вывернутые губы, постоянно что-то бормочущие на рябом лице с белыми блондинистыми волосами, груди – как футбольные мячи и выражение, как у кошки, которой специально наступили на хвост, но она боится закричать. Во-вторых, человек-кариатура (если б он не был реальным живым человеком) на суетливого крысенка, попавшего в лужу, имени которого Лавлинский не знал. Болезненные грызуны, объевшиеся отравленной приманки, находятся примерно в таком же состоянии, в котором постоянно был этот член общины. На собраниях сидел с видом человека, тяжело обдумывающего, но, в принципе, не способного разрешить сложный философский вопрос. Если он говорил, то из-за шепелявой и несвязной речи его почти никто не понимал. При общении он почти никогда не смотрел в глаза, чем невольно вызывал подозрения у всех, ну, и в целом, весь его облик говорил любому встречному: слабость и неполноценность. Даже Лавлинский, до того как стать фараоном, в чем-то бывший таким же, сравнивая

себя с ним констатировал: «Нет, я не был таким заморышем».

«Лида слишком грузная, и если ее повесить на крюк, то долго разделявать, - решил он, - а этот шмакодявка очень удобен – в меру худой, плоский и длинный. Только вот, говорят, в Древнем Египте мозг у мумии вытаскивали с помощью крюков через ноздри. С этим могут возникнуть проблемы – долго слишком».

Однажды после собрания Лавлинский попросил Крысенка остаться, для верности придержав при себе Оракула (бывший следователь, ставший чем-то вроде телохранителя для Лавлинского) и Серова (просто крепкий тип, работающий охранником в банке). Скосив глаза в сторону, всегда прибывающий в таком положении, будто его вызвали на ковер, он стоял и ждал оскорблений. Настроенный сурово Лавлинский, почувствовав невыносимую жалость, понял, что не хочет его убивать и сквозь выступившие слезы, которые когда-то так часто проливал из жалости к самому себе, спросил:

- Скажи, а у тебя были отношения с женщинами ?

Искоса бросив на фараона резкий взгляд потаенных белков, за долго до того как произнес вслух отрицательный ответ, он ответил всем своим обликом и положением фигуры – ни одна женщина не заинтересовалась бы им, а он, интересующийся почти каждой, не умел познакомиться и начать отношения.

- А ты хотел бы иметь?

Этот вопрос тоже задавать было бессмысленно – любой человек, способный иметь полового партнера, хочет, чтобы он был.

- Я могу тебе дать много женщин, но для этого ты должен будешь послужить фараону. Намарака фу гуру (приходи завтра).

На все согласный Крысенок выбежал на улицу. Лавлинский, переставший ощущать к нему жалость сразу же, как тот исчез из-под взгляда, разозлился на собственную слабость. Приказав телохранителям вернуть его, он умертвил Крысенка вместе с ними. За два часа они разделали его, положили в раствор. Пока его охранники убирали внутренности, Лавлинский ходил вокруг и, морщась, вспоминал, как в деревне режут скотину, как кишки выносят в тазике и сбрасывают в овраг.

10:13 Раскрытие подлинной сущности фараона делало Лавлинского все сильнее и все больше возвышало над обыкновенными людьми, давало ему ощущение, что возможно все и нет преград. Превратившись в фараона после нескольких лет приниженного, улиточного положения на работе, в жизни, ему нужно было доказывать себе, что он уже не тот, что условности этого мира для него ничего не значат. Раньше познакомиться на улице с девушкой, зайти в кабинет гендиректора, было для Лавлинского сильным стрессом, теперь же это было все равно, что съесть бутерброд. Теперь он заставлял себя делать то, что раньше делать боялся. Когда здоровый амбал наступал на ногу, он делал вид, что не заметил, когда шутки Агудовой задевали, он молчал, теперь же Лавлинский подавал голос и мог сам первый сделать замечание. Он чувствовал себя уверенно - вместо прежнего дискомфорта и убогой стеснительности приходила полная уверенность во всем. Постепенно привыкая к мысли, что любое его движение и междометие божественны в прямом смысле, после Первого пришествия (восседание на троне, перед входом в собственный подъезд), он жил в состоянии радостного непоколебимого все возрастающего триумфа, словно нашел в себе вечное непобедимое оружие.

Чувствуя, что «готов морально», он решил предложить себя на место директора ВЭДа. По внутренней связи он набрал гендиректора и попросился «по личному вопросу». Поскольку Лавлинский был лицом незначительным в фирме, Куприн,

ожидавший просьбы повысить зарплату или дать в долг денег, несколько раз в течение дня откладывал встречу, пока, наконец, не позволил зайти к себе. Привыкший ко всяким неожиданностям в коммерческой деятельности (предательство деловых партнеров, казавшихся крайне надежными, резкое падение спроса на продукцию, надувательство, безалаберность сотрудников, казавшихся исполнительными), он был удивлен, словно ему самому в своей же собственной фирме предложили поменяться ролями с сантехником.

- Он в чем-то провинился? – осторожно подступил гендиректор, думая, что, может быть, его «зам» провернул какую-то аферу и нанес ущерб фирме.

- Нет.

- Он не достоин занимаемой должности ?

- Достоин.

- Тогда в чем же дело ?

Потянувшись за небрежно лежащей на стопке бумаг сигаретной пачкой, директор вытащил сигарету, но не побежал курить – было интересно в чем же смысл комедии.

- Я готов столь же эффективно исполнять его обязанности, - выдал весомый аргумент Лавлинский.

- Это очень опытный и нужный нам сотрудник.

- Я более способен к этой должности.

- Я понимаю, но мы не можем так просто взять и уволить его.

- Не увольняйте. Пусть руководит другим подразделением.

- Почему ты считаешь, что я должен его уволить? Он ни в чем не провинился, хорошо знает рынок, наши партнеры успешно с ним общаются, поэтому то, что ты говоришь – ахинея какая-то.

- Вы напрасно от меня отказываетесь.

- Мы от вас не вас не отказываемся – работайте на своем месте. Вы – менеджер, да ?

- Да.

- Потом, может быть, мы вас повысим.

- Вы об этом пожалеете.

- Все – свободен. Иди отсюда.

«Муравей отсылает гору, - подумал Лавлинский. – Он думает, что гора мешает ему, но гора не знает даже о его существовании».

- Как низок человек и грешен, неумен и недогадлив. Как жалок он в темноте своей, подозрениях и страхе. Как он боится, думая, что у него отнимают его почет и ремесло, - держа прямой, как у идола, спину, вставая с кресла произнес Лавлинский. – Сихера абраки сарубери. Ребуру мара мра серикарамалтавара. Ибрику ра се, ибруку рабра.

Ценитель явлений, соотносимых со словом «интеллигентный», частый посетитель театральных премьер и концертов классической музыки (если исполнители знамениты, а билеты дороги настолько, чтобы зал не набивался школьными учительницами и пенсионерами в подштопанных джемперах), Куприн не мог не отметить отсутствие неестественности и фальши в убедительно произнесенной фразе. И эту фразу произнес человек, который раньше общался так, будто ботинки жмут, или пчела залетела в ширинку.

- Абсолютной Истине все равно в какой должности она числится в вашей фирме. Абсолютной Истине все равно до всего марука, которой вы живете.

Вернувшись на свое рабочее место, сев за компьютер, Лавлинский добавил новую главу в «Дела Фараона» - книгу Истины, которую начал писать несколько месяцев назад, фиксируя в ней все события, происходившие с ним, настолько подробно, что

некоторые дни бывали расписаны по минутам. Ему доставляло особое удовольствие разлагать произошедшее, разминая в мельчайшую муку значков движения, слова, действия. Фиксируя, например, разделявание и изготовление мумии, которое составляло одни лишь действия рук, ему нравилось определять и закреплять все это словами. Первые главы писались почти без перерыва, и он ждал, когда же пролетит комар, или он случайно увидит на улице какую-нибудь сцену. Только через несколько недель столь подробное закрепление памяти его начало утомлять и, тайно усмехаясь, он с жалостью по отношению к своим будущим последователям думал, что лишает их счастья подробно знать каждое движение Абсолютного Духа.

«Поразившись правдивости слов, богатый торговец упал на колени и стал лобызать ноги Его.

- Верю в Тебя, Царь мира, Бог Мой, - закричал он, но Царь мира отстранился и сказал:

- Встань.

Плача он ходил на коленках по своему кабинету и через каждые два шага отбивал поклоны Царю, произнося губами хвалу во славу Его. Не знавший Своего Бога, не веривший в Своего Бога, не желающий Бога Своего, теперь он разрыдался от переизбытка чувств к Отцу Своему, Абсолюту Вселенной», - так описал он посещение гендиректора.

Не важно, что Лавлинский почти все записывал не так, как было, выворачивая события наизнанку. Через некоторое время не будет ни Куприна, ни его кабинета, ни его конторы, и тогда никто не сможет опровергнуть, доказать, что все было наоборот. Когда пройдет несколько сотен лет, все, записанные в «Делах Фараона» эпизоды приобретут аллегорический смысл, и будет уже совсем не важно правдивы они или нет – в них нужно будет просто верить и осторожно, чтобы не оскорбить чувства верующих, интерпретировать как величайшую мудрость мира. Если бы кто из коллег Лавлинского прочитал его книгу, то однажды утром они бы встретили его на работе с палками и ножами в руках – все было перевернуто фантастично и с особым ложным подтекстом. Например, Агудова в «Делах» домогалась его любви и была постоянно отвергаемой, Валя Степанцова была казнена, а гендиректор и руководители отделов в прямом смысле, встав на карачки, возили его на спинах. Безусловно ведение дел фирмы они доверили ему полностью и беспрекословно, после чего прибыль увеличилась десятки раз, хотя Абсолютный Дух уделял делам фирмы всего лишь несколько минут в сутки. Всех остальных сотрудников фараон никак не мог отучить, чтобы они не падали на колени и не начинали молиться при его появлении. Жены всех сотрудников ушли от мужей и ругались между собой за право быть его первой женой, чему Лавлинский удивлялся – его не интересовали жены сотрудников, о чем он неоднократно открыто заявлял.

10:14 После неудачной попытки занять престижную должность по месту работы, Лавлинский разнес по кадровым агентствам резюме на должность управляющего компанией, написав в графе опыт работы множество привлекательных специальностей, которых никогда не имел. Очень приятно было через неделю получать телефонные звонки и приглашения на собеседования, которые, правда, заканчивались скандалом. Кадровые агентства через месяц-два исключили его из своих баз данных, узнавая через собственные каналы, что «г-н Лавлинский» ни разу не работал замдиректором ни в одной из перечисленных в резюме фирм, а о существовании других фирм, указанных тут же, никому ничего не было известно. Кадровики требовали с него кучи бумажек – дипломов, трудовых книжек, проверяли

знания по экономике, а потом, на всякий случай извинившись, отказывали. В одну из фирм его уже почти взяли, но когда выяснилось, что ни одного документа, подтверждающего его регалии нет, а штатный психолог узнала, что он состоит на учете, его с криками выставили за дверь, но Лавлинский уже не боялся ни криков, ни выставлений.

- Вы что – за дураков нас держите? – заорал очередной начальник, но у Лавлинского уже долгое время было ощущение, что все происходит не с ним, а с другим человеком – клерком Лавлинским, оставшимся в прошлом, который все еще по инерции ходит, ест, пьет и что-то делает там - в далеком тумане, в то время как другой Лавлинский, уже совсем не Лавлинский, а – Бог, Царь мира, Абсолютная Истина, Фараон. Он спокойно вышел – этот крик для него был все равно что писк комара, ну, а слова и изображения простых людей вообще уже были картинками типа «gif». Конструкция удавалась, он чувствовал, что она выстраивалась не только в его голове, которую медицина считала не вполне нормальной, но и в кругу людей, которых он собирал рядом, обучал новому языку рабара и новому видению.

Прочитав несколько философских книг по лингвистике, найдя подтверждение, что вне слов нет реальности, а вся реальность это слова, то есть так или иначе знаки, он начал как можно более интенсивнее придумывать новые обозначения и смыслы. «Вся эта реальность – литература, кино, научные законы, законы государства, указы президента, постановления судов, этикетки на товарах, денежные купюры, языки программирования, цифры на телефонной трубке, названия городов и номера домов – все это знаки и дерьмовая реальность неполноценных мерзостных людишек эпохи парламентской демократии. Они изобрели знаки, чтобы передавать во времени информацию, чтобы слова оживлялись, впитывались новым поколением. Для передачи информации они изобрели школы и университеты. Я же сделаю свою реальность».

Однажды на просьбу Агудовой сбежать за курицей, сановито обернувшись на стуле всем корпусом, он спросил: «Разве фараон состоит на побегушках у гетер?», но потом, вспомнив свое решение до времени не раскрываться, быстро сбежал вниз и, положив перед ними три мороженных сизых тельца, уехал в город якобы по делам. Агудова выглядела так, будто Куприн в самом деле сделал Лавлинского начальником над ними, а потом катал у себя на спине по коридору. За углом стоял киоск «Куры-гриль», но, сделав вид, что не понял, Лавлинский купил мокрых замороженных цыплят («Курицам – курицы»).

Директор по ВЭДу скоро заметил, что, встречаясь с ним взглядом, этот – один из самых боязливых и зачуханных сотрудников, теперь не отводит глаз, смотрит прямо и ясно, словно собираясь ударить. Охранники у входа, выдававшие сотрудникам ключи от кабинетов, заметили, что вместо своей прежней подписи, он стал ставить какой-то странный значок (египетский иероглиф – «фараон»), на который уходило почти полминуты. Директор, увидев подписанную таким же способом одну из бумаг, решил, что работника пора отправить в отпуск.

Теперь, заходя в офис, он внутренне хохотал, как какой-нибудь отрицательный оперный персонаж, выходящий на сцену. Хохотал от мысли, что он - фараон, Царь мира, а остальные вокруг – серый материал природы, люди, которые даже не имеют счастья узнать, кто рядом с ними ходит и бодрствует. «Не хотел бы я оказаться на их месте – жить и не знать, что рядом с тобой ходит Истина, говорит. Знать, что стоит только прикоснуться или задать правильный вопрос, как раскроются бездны Вселенского Духа и ты, может быть, обретешь бессмертие». Лавлинский, конечно,

укорял себя, что он живет рядом с ними, сидящими в полной темноте и почти не делает намеков, но мир так устроен – кто-то способен углядеть и схватить за рукав истину, а кто-то обречен на вечное забвение. «Ну сколько будет стоять могила того же Куприна, - думал Царь мира. – Ну, максимум, двести лет, а потом его предки перестанут оплачивать место на кладбище. Забудут, кто он им. А мне без разницы, поставят могилу или нет, потому что я – Истина, а Истину никогда не забывают, даже если не следуют Ей».

Иногда Лавлинский задумывался, что у Истины могут быть враги, но отгонял такие мысли: «Абсолют слишком непреклонен, чтобы его поборол кто-то. Как можно жить в полной тьме? Не видеть Своего Бога, не любить Его тут же ? Я – Бог, - говорил он вновь и вновь, и от этого становилось легко и очень спокойно, словно он уже достиг той самой трудной цели, которую хотел достигнуть, словно добился всего, чего можно только добиться в этом обществе. «Не важно, жив я или мертв, лежу или хожу – я есть».

Каждый раз в конце собрания, которое заканчивалось хором прочитываемой на рабара молитвой, содержащей безмерные восхваления Фараону, он почти воспарял вместе с другими членами общины. Отделяясь от собственной личности в процессе молитвенного экстаза, Лавлинский превращался в немой облик, с которым не поспоришь, не вступишь в сделку, поскольку он уже не человек. При правильном применении методики, культ можно сделать из дракола или из кусочка конфетной обертки - достаточно умными словами, произносимыми уверенно и страстно, каждый новый раз наделять его какими-то немислимыми свойствами, тем более, что сам предмет безмолвствует и никогда ничего не скажет. Убивали же первобытные племена ради идолов (которых сами же и выточили из камня), создавали же специальные места (церкви), на территории которых действия перегружали символами. Что на самом деле представляет из себя истина - никто не знает, поэтому выдавать себя за нее может кто угодно и главное здесь понять и правильно применять методику.

«Они же такие глупые, одинокие и духовно беспомощные. Если бы я предложил им в качестве Бога свой рваный носок и ежедневно в течение часа рассказывал о его безумных богодостоинствах, то через несколько недель он бы заговорил и стал бы прорицать будущее, наказывать, поощрять, творить чудеса. Мне достаточно было бы быть передатчиком между этим носком и паствой. Главное превратить все это в систему, в интеллектуально-знаковую конструкцию».

10:15 Когда Крысенок был забальзамирован и подвешен под потолком, уважение к Лавлинскому и серьезность к делам и идеологии общины у ее членов повысились. Осознание, что самое ценное - жизнь, община может потребовать себе, морально вздергивало, а сопричастность к необычному, которое в прошлой жизни никогда не приходилось делать (разрезание и потрошение человека) также прибавляло сплоченности.

С самого малолетства, минимум дважды в день пользуясь метро, Лавлинский не задумывался, насколько это удачное место для символических действий. Только однажды утром, увлекаемый в переходе между станциями толпой, словно очнувшись от глубокого сна, он взглянул на людские потоки по-другому (как и на все вокруг теперь смотрел необычно). Подростком время от времени он представлял, как визжат окрашенные тети, поднимая окровавленные лица с пола, лежа в толпе раздавленных жертв, как дяди лезут по эскалатору, наступая на спины и головы, как людская струя сбивает газетные лотки и милицию у турникетов, выворачивая стеклянные двери. Смакуя такие фантазии в детстве, он не желал их осуществления, теперь же, с

каждым днем становясь богом все более и более, словно открывая для себя мир заново, он понял, что нет ничего невозможного. Раз он Бог, то миловать и наказывать - его прямая обязанность.

Пронести в метро взрывчатку и взорвать ее на платформе в час-пик задача слишком простая. Лавлинского – идеолог, его мало интересовал примитивный человеконенавистнический акт, который сам по себе не принес бы ему никакого удовлетворения. Это деяние имеет смысл только как глубокий символ, предшествующий событиям во стократ более грандиозным, способное вызвать тяжкие озарения. «Истина. Они должны приблизиться к Истине хоть на пол-столько. Даже по их христианской религии, которую разделяет большинство из них, они грешные скверные существа, почему же Я должен жалеть их?»

Уже за несколько месяцев до акта, на стенах метро стали появляться надписи на рабара. Их никто не понимал, но надписи ясно указывали место и время, иносказательным образом объясняли, зачем все это делается: "Скот ждет, пока его зарежут", "Апис", "Тщета", "Бог видит" - смогли бы прочесть сограждане, если бы знали новый язык, если бы зашли в Интернет на сайт общины и, пользуясь словарем, взяли бы за труд перевести надписи. "На их месте я бы бросил все дела, оставил бы все мирские обязанности, начал бы труд к пришествию к Истине, но в ядении, бодрствовании, совокуплении и сне, сачары помышляют только одно: не видеть Своего Бога, не знать Своего Бога, отворачиваться от Своего Бога, не верить Своему Богу, сомневаться в Боге, откладывая на потом заботу о Боге, и за это они получают наказание от Бога", - объяснил на одной из проповедей Фараон.

В прессу и службу госбезопасности община отослала сообщения: по ее расчетам, 29 июля 2004 года должен произойти конец света, и этому будут предшествовать страшные события. В редакциях газет и телекомпаний вдоволь насмеялись, не обратив должного внимания на предупреждение, а в ФСБ взяли на заметку, но всерьез не восприняли, поскольку все послания вовне община составляла в дурацком безграмотном тоне, словно первоклассники писали письмо в "Спокойной ночи, малыши". Русский язык община считала грязным и примитивным, намеренно искажала его. Рабара не содержал грубых выражений, формы первого лица единственного числа, прошедшего времени, являлся знако-системой Вселенского Абсолюта.

Другим предупреждающим знаком было вырезание деревьев. В течение нескольких ночей общинники вырезали все деревья в центре города и половину центрального парка, так что тротуары, как в лесу, были завалены ветками, преграждая стволами пути пешеходам как динозавры. На одной из улиц, которую по обеим сторонам проезжей части окаймляли молодые тополя, не осталось ни одного дерева – молчаливой аллеей скорби они все повалились на землю, пачкая косы в немывом асфальте. Озадаченные воробьи еще много лет потом сюда не залетали, а на одном из домов, вылезавшем на эту улицу огромной холодной стеной, общинники пояснили для избранных: «Они чувствуют, что будет».

Через некоторое время Лавлинский узнал, как можно заразить голубей и уже через месяц в городе не было ни одного здорового голубя. Черноватым гнилым пухом с них, как струпья, облезали перья, обнажая воспаленную красную кожу. Иногда на улицах можно было видеть совершенно голых птиц, шевелящихся в медленных предсмертных судорогах, которые сваливались прямо с неба, и ни каждая голодная кошка или собака решались их есть. Особенно зрелищной была ситуация на вокзалах: раньше серые голуби ходили на платформах «толпами», подбирая за пассажирами

объедки, пользуясь их милостью, нагло выхватывая куски хлеба чуть ли ни из рук, теперь же дворники в респираторах и защитных костюмах, собирали их в кучи, а потом сжигали на свалке.

Конечно, с точки зрения примитивной логики это было бессмысленное вредительство, но Лавлинский убеждал подданных, что рациональная логика, выработанная той реальностью, в которой большинство членов общины занимали не самое лучшее положение, применима лишь к «этому миру». Для другой реальности действует совсем другая логика, а если исходить из поставленных целей, то над всем миром и этой культурой следует глубоко рассмеяться. «Представьте, что здесь вы насыщаетесь, поглощая пищу. В другой же реальности пища уже появляется и разбухает внутри вас, и, чтобы насытиться, ее нужно изрыгнуть. Посмотрите на речь: чтобы вас насытить сегодня духовно, я говорю – я изрыгаю сущности».

Прорабатывая с особо приближенными несколько вариантов предзнаменования, Фараон египетский остановился на распылении газа одновременно на нескольких станциях метро, потому что, представляя себе мешанину разорванных, окровавленных тел, пришел к выводу, что все это будет выглядеть слишком уж кровавадно, в то время как незаметно подступающее удушье, наливающиеся кровью глаза, и вдруг опускающиеся на пол тела, внешне смотрятся более гуманно. Газ подкрадывается медленно, как змея, будто давая возможность убежать, вовремя шмыгнуть в вагон и уехать на соседнюю станцию, а взрывчатка детонирует быстро, тут же разрывая всех кто оказался рядом, не давая даже видимых шансов. Выбрав две станции, на которых в середине дня каждую секунду бывает триста человек, оценив, что этого количества вполне достаточно, общинники разработали подробнейший план, сделав упор не только на само осуществление знамения, но и его идеологическую сторону.:

«Никогда люди не перемещались под землей, заканчивая в ней только свой жизненный путь, каждый опускался в нее, оплакиваемый родственниками, теперь же на этой планете нарушен порядок. Люди настолько размножились, что на земле им не хватает места и они рвутся под землю, еще будучи живы. Метро – зло, это неправильное изобретение, от которого нужно отказаться, - примерно такие тезисы легли в основу релизов, которые были разосланы в прессу после совершения теракта».

В тот момент, когда первые пассажиры стали корчиться от удушья на станциях, на самых посещаемых сайтах «рунета» на черном фоне появилась надпись: ЦАРЬ МИРА ГРЯДЕТ. Ее поместили туда, взломав страницы, несколько программистов общины. Наблюдая по телевизору, как из метро выносят отравившихся людей, Лавлинский испытывал чувство жалости и собственного всемогущества: видеть сизые трупы ему не доставляло удовольствия, но знать, что Фараон-Бог наказал их было важно для собственного возрастания.

Не пропуская ни одного выпуска новостей, Лавлинский особенно возмущился комментарием какого-то низкого абрека, который прямо в камеру заявил, что «те, кто это сделал – нелюди». Сидя перед телевизором, он тут же выкрикнул в экран: «Проклят!», а потом громко заговорил сам с собой. Он часто говорил сам с собой, это происходило в независимости от того, был рядом кто-то из подданных, или нет. Благодать находила когда хотела: порой, сидя в кругу рабов, он прерывал себя и говорил, осененный. «О, нечестивые, неразумные глупцы и невежды! Что мы сделали - есть подвиг благочестия, и не тебе, проклятый абрек, ценить его. Кто-то должен жить за счет кого-то. Они умерли и только потому ты проживешь еще полгода. Дни гнева близки!»

Вдохновленный ненавистью общества к анонимным деяниям общины, Лавлинский в тот же день написал «Последнюю проповедь», которую прочел нескольким сотням подданных за день до конца света, вычисленного им. Сравнивая этот текст со своими акварельными картинками, он представлял ее как череду листов бумаги, полностью окрашиваемых чернотой. Уверовав сам, убедив многих, в неизбежности конца, он переживал совершенно подлинные глубокие ощущения Апокалипсиса. Он уже больше года жил в выжидательном состоянии надвигающейся темноты, определял эмоции и действия в соответствии с ним. В таком состоянии психики, все, естественно, казалось несущественным. Моральные установки погибающего общества тускнели, потоки информации, сконцентрированные на новостных сайтах и теленовостях, воспринимались, как последние сообщения с тонущего корабля, а самым актуальным было размышление о том каким способом все умрет. Лавлинский приказал записать на видео свое последнее откровение и выложить в сети. Может быть, Интернет единственное, что останется в живых. Стоя перед толпой, он молчал перед притихшим залом несколько минут и начал не раньше, чем вопросительное напряжение позволило прорваться, и не позже, чем какой-то ребенок хмыкнул носом.

«Сыны и дочери Нила.

Я собрал вас, чтобы раскрыть последнее откровение, которое вы уже знаете, но которое не всем из вас кажется реалистичным. Я знаю, некоторые говорят – «а вдруг?», а вдруг не будет, и мы будем жить рядом с Богом Моим, растить потомство и число наших сторонников. Я пришел не для этого, Моя Миссия изначально понятна – донести и подготовить (до тех, кто способен понять) слова о Боге и Темной Ночи.

В мире, от которого Я спас вас и которому приходит конец, заложена сила движения – чтобы жить, он должен бежать. Он не может не бежать, даже если бежит к своей смерти.

Не знаю, как убедить тех, кто надеется, что надежды нет, но Я, Абсолютная Истина, знаю, что финиш рядом. Всему приходит конец. Вот сидит оркестр и играет вальс – кто-то фальшивит, кто-то старается, кто-то мыслями в другом месте, но вот дирижер стучит палочкой: «На сегодня хватит», и не важно как вы играли – все закончилось для тех и для других. Музыканты встают и укладывают скрипки в футляры, сворачивают ноты, закуривают, взмахами гася спичку. И вот мы сейчас переживаем такой момент между тем, когда уже собирают инструменты, и тем, когда зал окончательно опустеет. Пьеса сыграна, зрители расходятся – это необратимо, потому что мы живем с вами в необратимом мире.

Кто Я был ? Я был раньше немощен и слаб. Я до тридцати лет не знал женщины, Я жил в страхе показать себя, Я был как микроб и никогда бы не стал сильнее, но Абсолютная Духовность сделала меня Царем Духа, Я даже изменился лицом, так что старые знакомые перестали узнавать Меня. Главное, что Я понял – мир придуман людьми. Законы физики, движение стрелки на часах, вращение планет – все это построено, сконструировано как дом. Конечно, этот дом выдается за критерий истинности, но завтра он упадет. Мне уже бессмысленно кого-то убеждать в этом, потому что осталось ждать недолго.

Я – Истина, Будда, Иисус, Мухаммед, Аллах и Разум Вселенной в одном Лице, говорю вам – марука, от которой мы все отказались не напрасно, – есть грязь. Она лишь видимость, покрывало мира, которое скрывает картину, и все, кто в маруке, смотрят на покрывало и восхищаются – вот шедевр, но не шедевр суть, а скорлупы. Я боялся всего и вся, но Истина Меня преобразила, теперь вы знаете Кто Я.

Я знаю – трудно представить, что вдруг все исчезнет, это кажется фантастикой –

дакарой, но произойдет это. Я тоже знал боль, страх и бессилие, но теперь Я – Абсолют и вы вместе со Мной сильны.

Что вы хотите знать об этом мире? Вы знаете компьютеры. Зайдите в Интернет. Там есть фильмы, где голые женщины засовывают себе в промежность всякую вещь. Хотите знать суть маруки? Эти фильмы и есть ее суть. Забудьте, отряхнитесь, новая Истина грядет.

Я вас спасаю.

Те, кто здесь в этом зале и только вы и больше никто – спасутся. Вы умрете как и все, но тут же очнетесь и будете жить дальше. АБИРА КАБИРА РИВАР».

Лавлинскому не нужно было придумывать, описывая заключительный момент в своей книге, потому что ему верили – в зале около часа продолжалась массовая истерика. Матери стали бить детей, дети – плакать, мужчины молчать, так что за пределами Духовного центра, который построила община, на улицах, прохожие останавливались, неприязненно сплевывая на землю: «Сектанты!». Часть общинников стала выбегать группами по пять-шесть человек, хватать горожан, разворачивать их к себе лицом и, толкая, дергая, но не причиняя боли, сквозь слезы громко кричать в лицо: «Проснись!» Большинство прохожих не желали просыпаться. Тут же произошло несколько драк, а милиция до ночи вылавливала группы странно одетых, возбужденных людей с разукрашенными лицами, которыми были переполнены все камеры районных отделений, которые, как один, громко причитали на непонятном языке, не отвечали на вопросы, в то время как Фараон, не желая вмешиваться, погрузился в молитву, так как теперь было все равно. «Началось», - думал он.

14:23 Суд, предъявивший Лавлинскому обвинение по пяти уголовным статьям, признал его невменяемым и отправил на вечное принудительное лечение в одно из соответствующих заведений. За время нахождения в одиночной камере, он развил привычку разлагать и уничтожать слова богомерзкого языка. Например, обдумывая в течении нескольких дней слово «прекрасно», он расковыривал его настолько, что начисто забывал первоначальный смысл. Вначале он разрушал «пре» : «п», являющееся чем-то пыхтящим, было дымом трубы, который всегда растворяется в воздухе, который уже никак нельзя собрать обратно, «ре» было безуспешной попыткой пьяного, какого-нибудь Ивана Кузьмича в грязной вонючей тошниловке выговорить непонятное слово, «ре» - вообще из собачьего разговора и не может продолжаться; «кра» - утиный звук без смысла, ну а «сно» – это что-то мелкое и быстро пролетающее около уха.

Слово «вменяемость» вызывало у Лавлинского стойкий продолжительный смех. Отодвигая его значение, он шутливо предполагал, что «есть» - это есть некий зашифрованный смысл, означающий, что «в меня», то есть – в него, поселилось Божественное Вселенское Абсолютное начало, и что варварский этот язык подлежит дешифровке, так как в свое время Абсолютный Смысл, давая его людям, затушевывал в нем некие важные моменты.

В СИЗО он пребывал уже в состоянии полной сверхгармонии. За полтора года он почти ни разу не вступил в контакт с окружающими – со следователями молчал, с охранниками не заговаривал, на суде – молчал. Он изучал камеру, в подробностях запомнил каждую неровность и дал ей название. Он пребывал в состоянии покоя и только время от времени длительно и громко начинал хохотать, не обращая внимания ни на чьи замечания – ему было просто хорошо и он смеялся, а всю маруку он давно проклял. В трещине Пта под кроватью время от времени лазали какие-то букашки, неровности Тха, Ибиса и Ашшура под рукомыником не высыхали, так как десять раз

в день фараон смачивал углы губ и разрезы глаз капельками воды (это был ритуал посвященных), на железном откидном столике было выцарапано несколько слов, отпечатавшихся в мозгу как заклинание этого дурацкого проклятого мира.

В больнице за несколько месяцев борода черным колючим мхом облепила лицо Лавлинского, кожа втянулась внутрь тела, на ребрах напоминая гладильную доску, а на коленях - соединения канализации. Если б не насильное мытье, которое время от времени учиняли санитары, чтобы не противно было подходить к больному, он бы давно вонял на всю палату.

Один из принципов его мировоззрения гласил: принимай маруку – какой она есть. В сочетании с полной уверенностью в достижении высот Сверхразума, это положение делало Лавлинского малочувствительным к каким-либо репрессивным мерам.

Именно здесь, в психиатрической лечебнице с особым режимом, у Лавлинского открылась новая уникальная способность – непрерывно общаться с Высшим Вселенским Сверхразумом, установилась постоянная гениальная связь с самими Смыслом всего материального и нематериального. Именно здесь он получил ответы на те вопросы, в которых сомневался, и на те, ответов на которые еще не знал. Порой Высший сам провоцировал его на диалоги, как бы заставлял задавать вопросы на такие закрытые темы, о которых Лавлинский даже не подозревал. Он общался с ним часами, иногда на протяжении нескольких суток, так что фараон сидел неподвижно, не реагируя на уколы.

Вышайший открыл ему новую разновидность языка рабара – «квари-рабара», созданную специально для общения лично с ним. Никогда Лавлинский еще не встречал столь божественного и светлейшего языка, способного с абсолютной точностью выражать любые оттенки высочайшей мысли. «О Отец Небесный, - задал Лавлинский один из первых своих вопросов, - в чем смысл мира?», и Он ответил: «Врахтобариварава». Лавлинский знал уже этот ответ, он ему открылся давно, но требовал подтверждения. Вначале Лавлинский задавал вопросы, ответы на которые были ему известны, и получил точное подтверждение, что он сам – Божественный Разум, Избранный, так как ни один из ответов Вышайшего не противоречил его собственным.

Потом он стал задавать вопросы, в которых сомневался, получая на каждый развернутые высказывания, с каждым разом словно необратимо поднимаясь по какой-то блаженной воздушной лестнице, ну, а потом между ним и Вышайшим установился непрерывный диалог.

Первые несколько суток Лавлинский требовал подтверждений: «Если Ты Вышайший, пусть ко мне зайдет санитар», и санитар заходил. «Если Ты Вышайший, пусть выглянет солнце», и из за туч вдруг появлялся луч, но потом Он запретил ему эти проверки, сказав: «Удостоверился достаточно ты. Не вводи в искушение Меня». Уже через некоторое время Лавлинский понял, что Вышайший свободно читал его мысли и порой указывал ему и давал совет на то, что он даже не выражал. Лавлинский чувствовал себя компьютером, в который беспрерывно загружают информацию.

Здесь Лавлинскому открылось еще несколько истин: что на самом деле его сутки делятся пять человеческих дней, что счет конечен (так как количество материи в мире ограничено, то и количество чисел не может быть бесконечным), что на самом деле в минуте не шестьдесят, а семнадцать секунд, но только длительность каждой секунды не равнозначна, а, значит, все человеческие способы измерения времени уже изначально ошибочны, и вся человеческая цивилизация – глубокая ошибка, нуждающаяся в кардинальном исправлении.

Иногда Лавлинский сожалел, что уже не может донести эти мысли до простых смертных абреков. Как было бы здорово поставить их сознания перед новым фактом и как бы они начали противиться, шипеть, обвинять во всяческих ересьях. Они так всегда делают, когда им говорят что-то новое и непривычное. Кто-то бы уверовал сразу, примкнул к благу.

Еще одно открытие, которое фараон не мог воспринять некоторое время – это истина того, что предметы живые. Однажды Вышайший донес, что филологическое деление вещей на одушевленные и неодушевленные является языковым обманом. В действительности столы и стулья живые, в то время, как люди и животные – неодушевленные. У тех, кто умирает, обладает мясом и костями нет души, потому что у всех жителей маруки Вышайший отобрал души в наказание за забвение ими Его и Истины. Как две линии кажутся сходящимися вдаль, так и одушевленность людей есть иллюзия, причиной которой является их способность к движению и воспроизводству. Поэтому все эти бесполезные барахтанья – начиная от «Илиады» Гомера и заканчивая каким-нибудь Феллини, которые ими самими же и провозглашаются гениальными, могут восприниматься только как нечто комичное. Ну, представьте себе, что стол или стул, который вы считаете неживым, начнет вас поучать, как правильно держать ложку – то же самое и все эти малевания Рафаэлей, Репиных, Босхов – иллюзия, закрывающая истину. Поэтому, нет такого правила, что нельзя убивать людей. Можно и нужно (тем более, что сами они порой убивают друг друга не без удовольствия!). Нет такого правила, требующего благоговейного отношения к книгам, кино, музыке, культуре: все это, в независимости от уровня подачи, – шлак. Есть, конечно, особый род ненавистных абреков, которые завопят, что такая точка зрения – это варварство, ведь – им еще в школе говорили, что голая баба с отломанными руками (давайте будем смотреть на это реалистично) – есть гениальное произведение, сотворенное гениальными древними греками, что «Преступление и наказание» – такое глубокое произведение, что хоть сто лет изучай – не доберешься до дна, а на самом деле – дерьмо, и Лавлинский это понял. Собрание глупых значков кириллического алфавита – произведение неполноценной цивилизации, отрекшейся от истины (пусть даже там есть две-три интересные мысли) – его Истины и Вышайшего Абсолюта.

Каждое новое открытие давало Лавлинскому ощущение глубочайшей длительной радости, потому что всегда радостно и светло узнавать подлинную Истину, освобождаясь от прежних темных заблуждений.

«Люди – мертвые, и как же я раньше не мог понять это! – удивлялся Лавлинский. – Ведь это же так просто, если исходить из того, что после конца света в другое измерение перейдут лишь избранные». Он даже придумал для себя специальный образ: стал представлять, будто живет в могиле, а вокруг него ходят и плавают гниющие мертвецы. Еще в «Книге Фараона» в главе «Об устройстве маруки» он почти подошел к этому открытию, и не доставало только божественного толчка. С какой достойной истинной прозорливостью он тогда писал:

«Абреки слепы. В движении их жизни полностью отсутствует свобода, везде – чистые схемы. Например, с чего начинается их жизнь? С совокупления. Они не очень любят об этом говорить, но знают прекрасно. Давайте смотреть в корень. Абреки любят рассуждать об экономике, философии, политических отношениях – ищут истину где-то в них. На самом деле жизненность (а только она является истинностью), точка отсчета для всех из них начинается с совокупленья – соприкосновения грязно и дурно пахнущих половых органов.

Однако, например, в России, где более полу-года стоит на улице мороз, неудобно совокупляться. Для этого они строят специальные укрытия. Так появляются жилища и их цивилизация. Результатом этого грязного акта является потомство. Потомство беспомощно и может умереть, если за ним не ухаживать. Поэтому возникает семья и государство. В целом же это крайне вредный и ужасный вид, который породила природа, и от которого сама теперь не знает, как избавиться. Мы, слуги Фараона – не животные. Мы – совсем другая форма жизни, по Божественному Проведению занесенная из космического пространства на эту смешную убогую планету, о которой они так любят говорить в возвышенных тонах».

Лавлинский до конца осознал смысл философии: нужно переворачивать привычные категории – неважно, получается в итоге доказанная истина или ее предположение. Главное – массы сбиты с толку, воспринимают тебя как истинное, что-то, возможно, интересное и идут за тобой. Философия – это интеллектуальная технология, которая проста-ки создана для того, чтобы поработать умы, давать им нужное направление и властвовать.

00:00 Однажды утром Лавлинского повели в соседний корпус и, привязав к резиновой койке, обтянули проводами. Ни разу в жизни Лавлинский не кричал так громко и дико, как здесь, когда отделенные стеклом врачи производили процедуру с усредненным благообразным названием – шоковая терапия. Внешне превратившийся в какое-то лесное, поросшее черным волосом животное, он и вел себя как животное, не понимающее откуда источник боли. Извиваясь, ударяясь о резину головой с наполнившимися слезами глазами, в ожидании каждой новой порции электричества, он не вызывал никакого сочувствия – слишком уж был похож на нечисть, которая вылезает из укрытий лишь в самые ужасные годы. Мир жестоко платил ему за заслуженное презрение к себе. Даже связь с Вышайшим пропала на некоторое время, вытесненная болью.

Мероприятие затеянное с гуманной целью – вернуть обществу Романа Лавлинского, не могло принести результатов, так как глубокая его убежденность не была психической болезнью. Никакие терапии и пытки не могли бы излечить его – медицина заблуждалась, полагая, что патология относится к ее компетенции. В действительности это была болезнь философии, мышления, вирус, не излечиваемый ни одним из средств науки, для которого общество еще не нашло противоядия, кроме уничтожения самих носителей. Лавлинский был болен, но заболеванием, которое способен излечить в себе только сам человек, и никто не может ему помочь, если он сам считает себя здоровым. Разбив весь мир на новые категории, смыслы, он не нуждался в «объективности», «правилах», «гуманности» и каких-то прочих категориях иных конструкций, потому привлечение всяких мудрых слов (тяжелый психоз, аномалия, невращения) только больше запутывало ситуацию. Психиатры, пытавшиеся объяснить его из патологий мозга или развития половой системы, понапрасну тратили время.

Извиваясь как червь на резиновой койке, Лавлинский орал: «Я Бог, Я Царь, Я Сверхразум! Я Смысл, Я Абсолют!!!».